

Глава первая

ИСТОРИОГРАФИЯ И ИСТОЧНИКИ

Обычно вступительный историографический обзор играет вполне утилитарную роль: обозначив свою проблему, автор демонстрирует успехи своих предшественников и, главное, их упущения, а также повышение всеобщего интереса к данной теме (наблюдаемое сейчас или ожидаемое в ближайшем будущем), что делает его исследование актуальным, обоснованным и вписанным в национальный или международный историографический контекст.

Но в нашем случае написать подобный обзор историографии проблемы практически невозможно — работ будет или слишком мало или слишком много. Реконструировать французское общество 1539–1559 гг. на основании регистра парижского Шатле в голову никому не приходило, да и попыток воссоздать общество именно данного периода на основе нотариальных актов не так много. Но если хотя бы по паре строк уделить всем работам, которые так или иначе могли бы быть полезными для наших задач, то историографический раздел растянулся бы не на одну сотню страниц. Сразу же отметим, что отдельные историографические экскурсии нам придется проделывать, разбирая ту или иную частную проблему нашего исследования. В свое время, например, придется затронуть работы по истории французских университетов и образования, осветить отдельные аспекты историографии французского гуманизма, Реформации и Контрреформации, воспользоваться плодами работы исследователей некоторых институтов монархии.

В данном очерке речь прежде всего пойдет о судьбах и перспективах так называемой социальной истории, понимаемой как специфическая отрасль исторического знания, концентрирующей свои усилия на описании социальных структур и принципов устройства общества, будучи противопоставленной (конечно, весьма условно) истории политической, экономической, традиционной истории культуры и др. Затем, во втором параграфе мы попытаемся проследить, каким образом отмечаемые общие тенденции преломлялись в решении задачи более конкретного характера: определения социальных предпосылок и социальной сущности Религиозных войн.

§ 1. Социальная история Франции и ее судьбы во второй половине XX века

Критерии отбора трудов. — Два предварительных замечания

Обрисовывая, как представляется, наиболее важные аспекты развития социальной истории Франции, мы постараемся руководствоваться следующими критериями отбора. В данном случае мы будем говорить о работах, авторы которых или сами определяли жанр своего исследования как социальную историю, или причислялись к этому направлению критиками. Из этих работ нас по преимуществу будут интересовать те, в которых речь пойдет об истории Старого порядка, и, желательно, — истории XVI века. При этом важным критерием для нас будет служить отношение авторов к использованию нотариальных актов.

Но этот обзор хотелось бы предварить некоторыми соображениями, возникающими обычно при чтении историографических работ. Мы будем говорить о неких историографических тенденциях, периодах, направлениях, о “сменах парадигм”, о дискуссиях, которые велись на страницах ведущих журналов, начиная, конечно, со знаменитых “Анналов”. Если этого не сделать, то историографический очерк грозит обернуться аннотированной библиографией. Но не стоит ни на минуту забывать об условности в выделении различных историографических школ, направлений и периодизаций. Какие бы историографические драмы ни разыгрывались на подиуме “высокой моды” исторической науки, — значительная, быть может, и большая часть нашего профессионального сообщества относится к ним весьма отстраненно. Историки и во Франции, и в США и, смею надеяться, в нашей стране в массе своей мало вникают в тонкости эпистемологических проблем и простодушно уверены в том, что история пишется по источникам, что они оперируют объективными научными фактами, восстанавливая прошлое “как оно было на самом деле”, не воспринимая методологические дискуссии на свой счет. Это большинство поистине “молчаливое”, ведь человек, который вообще в методологию не верит, редко вмешивается в такую полемику¹. Поэтому у стороннего наблюдателя (а долгое

¹ Впрочем, бывают и исключения. См., например, материалы дискуссии по вопросам методологии и гносеологии, развернувшиеся на страницах альманаха “Одиссей, 1996”. Во время обсуждения не раз вспоминали слова русского историка

время историки в нашей стране выступали именно как наблюдатели сторонние) складывалось обманчивое впечатление о поголовном следовании зарубежных коллег тому или иному новому веянию. Влияние различного рода “новых поворотов” на историческое сообщество является косвенным и крайне неравномерным. Это порождает немалые сложности при написании историографических работ: трудно сочетать проблемный характер изложения с полнотой охвата историографической панорамы, однако объективно этот консерватизм историков не так уж и плох.

И еще одно предварительное замечание. Не следует забывать, что творчество каждого исследователя лишь в конечном счете подчиняется (да и то вовсе не обязательно) логике изменения общего историографического климата или ритмам эволюции той или иной историографической школы. Если автор сначала на основе статистического материала написал работу о крестьянстве такой-то провинции, а через несколько лет опубликовал биографию такого-то короля, то из этого не еще не следует, что историография от изучения социальных групп перешла к изучению исторической психологии конкретной личности. Просто автору удалось заключить выгодный договор с коммерческим издательством или заинтересоваться данной личностью по каким-то своим причинам. Точно также на характер творчества могут влиять необходимость защиты диссертации, случайности архивных поисков, неожиданно дающие в руки исследователя какой-нибудь поразивший его источник, некие биографические события в жизни историка или кадровые перестановки в том университете, где он работает. Сколько раз бывает, что историографы приписывают автора к тому или иному направлению, а он совершенно неожиданно публикует работу совсем другого толка. Допустим, написал тот же Ле Руа Ладюри работу о крестьянах Лангедока и ряд критических статей, и те, кто говорил о школе “Анналов”, как начали его цитировать в качестве ярого сторонника “неподвижной истории”, истории без событий и сторонника “клиометрии”, фанатика

Б. А. Романова, о том, что “заниматься методологией — это все равно что доить козла”. В правомерности этой метафоры усомнился тогда А. Я. Гуревич (*Гуревич А. Я. Вместо заключения, или можно ли “доить козла”? // Одиссей, 1996. М., 1996. С. 176–177*).

количественных методов, так и продолжали еще долго упоминать его именно в этом контексте. Ведь писал же он в 1972 г.: “Историк завтрашнего дня будет программистом, или его не будет вовсе”, ратуя за сериальную историю или историю количественную, навсегда подписывая приговор истории событийной². Более того, он призывал к раздроблению истории, отказываясь от ее целостного восприятия. Но те из наших соотечественников, кто старательно полемизировали с ним, странным образом упустили из виду такой важный факт, что на 1975 г. приходится сенсационный успех работы “Монтайю, окситанская деревня”, — возможно, лучшей и самой известной из его книг, в которой нет никакой количественной и сериальной истории и нет никаких попыток расчленить целостное восприятие исторического процесса³. Пройдет еще немного времени и этот убежденный могильщик событийной истории издаст “Карнавал в Романе”, монографию, посвященную лишь одному событию в жизни города провинции Дофинэ в эпоху Религиозных войн. И опять — шумный успех⁴. Причем, чем талантливее историк, тем больше в его творчестве подобных “сюрпризов”. Но, с другой стороны, тем значимее тенденции в историографии, которые все-таки пробивают себе дорогу сквозь хаос конъюнктурных, биографических и просто случайных факторов.

² *Le Roy Ladurie E. Le territoire de l'historien. Paris, 1973. P. 14.*

³ *Le Roy Ladurie E. Montaillou, village occitan de 1294 a 1324. Paris, 1975* (в русском переводе: *Ле Руа Ладюри Э. Монтайю, окситанская деревня (1294–1324). Екатеринбург, 2001).*

⁴ *Le Roy Ladurie E. Le Carnaval de Romans: De la Chandeleur au mercredi des Cendres (1575–1580). Paris, 1979.* Впрочем и о “Монтайю” и о “Карнавале” наша публика узнала вполне своевременно из реферативного журнала и реферативных сборников. Нашему профессиональному сообществу еще предстоит оценить значение скромных, но настойчивых усилий А. Л. Ястребицкой по синхронизации развития отечественной историографии с новейшими достижениями западных коллег.

А. Социально-структурная история (1950-начало 1970-х гг.)

Социальная история как особая субдисциплина. — Программа Э.Лабрусса. — Эпоха локальных монографий. — Количественная социальная история. — Нотариальные акты как привилегированный тип источника. — Ролан Мунье и его концепции. — Классы или сословия? — Споры в Сен-Клу. — Несобытийная история. — Были ли Б. Ф. Поршнев и А. Д. Люблинская социальными историками? — Социальная история в узком смысле слова. — Тяга к эмпирически осязаемой, “подлинной” социальной иерархии. — Умерла ли социально-структурная история?

Мы начнем обзор работ по социальной истории с 50-х годов XX века. Выбор этого рубежа нуждается в обосновании. Работ по социальной истории было немало и в предшествующие периоды. Даже если оставаться на французской почве и не брать, например, немецкую или российскую традиции, то можно вспомнить имена Анри Бара, богатыю сразу же приходят в голову имена Анри Бера с его вызовом традиционной историографии, Франсуа Симиана, Анри Сэ и многих других. Марк Блок и Люсьен Февр выбрали название для своего журнала: “Анналы экономической и социальной истории”; позже Февр комментировал этот выбор: “Нам обоим казалось, что столь расплывчатое слово, как “социальный”, было создано и пущено в ход личным указом исторического провидения именно для того, чтобы служить вывеской журнала, цель которого — не замыкаться в четырех стенах. Экономической и социальной истории не существует. Существует история как таковая, во всей своей целостности. История является социальной в силу самой своей природы”⁵. Прилагательное “социальное” устраивало основателей “Анналов” именно в качестве пустой этикетки. Большую широту в понимании социальной истории отличали и работы Анри Озе⁶. Прекрасная (и хорошо известная в нашей стране) работа Дж. Треvelyяна “Социальная история Англии”, трактовала социальную историю также предельно широко⁷. Люсьен Февр высмеивал исторические труды, подобные комоду: “Верхний ящик — политика, “внутренняя” — справа, “внешняя” — слева. Второй ящик: правый угол — “движение

⁵ Февр Л. Бои за историю. М., 1991. С. 25.

⁶ Hauser H. *L'enseignement des sciences sociales. État actuel de cet enseignement dans les divers pays du monde*. Paris, 1903

⁷ Trevelyan G. M. *The Social history of England*. L., 1944 (в русском переводе: Треvelyян Дж. М. Социальная история Англии. М., 1959).

населения”; левый угол — “организация общества” (организация кем? Полагаю, политической властью, которая с высоты ящика номер один руководит, управляет и повелевает всем)”⁸. Но весь пафос таких историков, как Марк Блок, Люсьен Февр, Джордж Тревельян, Жорж Лефевр был направлен против засилья истории политических событий, великих людей или государственных институтов. Для них было важно установить взаимосвяз между экономическими, социальными и политическими, а также культурными “срезами” действительности. Поэтому в их трудах подспудно содержалась и другая идея, идея стратифицированного подхода к реальности, трактующего социальное, как один из специфических уровней её рассмотрения. Поэтому следующее поколение историков, сосредоточивших свое внимание на сфере социального, с полным основанием считало Марка Блока и Жоржа Лефевра своими предшественниками.

И все же в 50-ые годы произошел качественный скачок. Признание важности социальных факторов, убежденность в том, что важные политические события имеют своей подоплекой (истинной, подлинной, а значит — глубинной причиной) именно социальные сдвиги, парадоксальным образом привели к торжеству более узкой трактовки социальной истории и к обособлению ее в отдельную субдисциплину, претендующую, однако, на роль королевы исторического объяснения.

Решающий шаг в становлении социальной истории сделан был Эрнестом Лабруссом, чья эволюция весьма примечательна⁹. В 30-ые годы он изучал экономическую историю и изменение экономической конъюнктуры, приведшей к экономическому кризису в конце Старого порядка¹⁰. Затем Лабрусс перенес свое внимание на социальные последствия экономической конъюнктуры,

⁸ *Февр Л.* Указ. соч.

⁹ Справедливости ради надо отметить, что сам Лабрус по свидетельству Пьера Вилара относился к термину “социальная история” с недоверием. См. С. Charle (dir)., *Histoire sociale. Histoire globale? Actes du colloque des 27-28 janvier 1989, Paris, 1993, P.67*

¹⁰ *Labrousse E.* La crise de l’économie française à la fin de l’Ancien régime et au début de la Révolution. Paris, 1943.

определявшиеся в зависимости от позиции, занимаемой различными классами в процессе производства. Не будучи последовательным марксистом, Лабрусс основывал свои штудии 50-х годов на концепции разделения общества на классы, определяемые по их месту в производственных отношениях. Он и его последователи отдавали приоритет массовым источникам, позволяющим описать общество Старого порядка в виде иерархии групп, различавшихся характером и размерами своего богатства и доходов. Для этого наиболее подходящими представлялись фискальные источники. Но важность подхода Лабрусса для нашей темы определяется тем, что он настаивал на необходимости проверки полученных данных материалами нотариальных архивов, в особенности посмертным описям и брачным контрактам. Особенно значимым был этот тип источника для социальной истории Парижа.

В 1955 г. на Международном Конгрессе исторических наук в Риме (характеризовавшемся, помимо прочего, первым контактом западных историков с советскими коллегами) Лабрусс озвучил проект комплексного исследования французской буржуазии XIX в., призванный перейти от индивидуальных выборочных примеров к массовому описанию социальных групп с использованием количественных методов¹¹. Сведение воедино данных локальных исследований и должно было в перспективе дать подлинно научную, объективную картину состояния класса буржуазии. А когда Пьер Вилар, придерживавшейся марксистских взглядов, упрекнул Лабрусса за отсутствие строгого определения буржуазии, то последний дал весьма примечательный ответ: “сначала надо получить социальные группы, а потом посмотреть, насколько они соответствуют теоретическим моделям классов”¹². Сам же Эрнест Лабрусс надеялся, что полученные “настоящие” классы и будут соответствовать классам в их марксистском понимании.

¹¹ *Labrousse E. Voies nouvelles vers une histoire de la bourgeoisie occidentale aux XVIII^e et XIX^e siècles // Relazioni del X Congresso internazionale di Scienze Storiche (Roma, 1955). Firenze, 1955. Vol. 4. P. 365–396.*

¹² См. *Atti del X Congresso Internazionale di Scienze Storiche. Roma, 1955. P. 514–530; ответ Лабрусса Ibid. P. 528–530.*

Началась эпоха просопографических обследований отдельных социальных групп¹³ и добротных локальных монографий, восстанавливающих социальные структуры того или иного региона, истории отдельных семей, представлявшие собой эшелонированные во времени на полтора-два века рассказы о социальной мобильности. И пусть усилия и амбиции историков 50-60-х годов будут затем восприниматься критически, это была поистине великая эпоха, звездный час французской социальной истории. Многие монографии того времени продолжают вызывать искреннее уважение и даже зависть. Я бы отнес к таким шедеврам первую монографию Пьера Губера “Бове и Бовези”¹⁴, исследование системы власти и мира чиновников баляжа Санлис, предпринятое Бернаром Гене¹⁵, исследование судеб предков канцлера Сегье, ставшее темой исследования Дени Рише¹⁶ или предков будущего Кольбера (диссертация Жана-Луи Буржона, впрочем,

¹³ *Bluche F.* Les magistrats du Parlement de Paris au XVIII^e. Paris, 1960 (в 1986 г. переиздание с предисловием Э. Ле Руа Ладюри); *Idem.* L'origine sociale des secretaires d'Etat de Louis XIV (1661–1714) // *Le XVII^e siecle.* 1959. N 42–43. P. 8–22; *Venard M.* Bourgeois et paysans au XVII^e siecle. Paris, 1957; *Meyer J.* La noblesse bretonne au XVIII^e siecle. Paris, 1966. Т. 1–2; *Gruder V.* The royal provincial intendants: A governing elite in XVIIIth century France. Ithaca, 1968; *Gascon R.* Grand commerce et vie urbaine au XVI^e e siecle: Lyon et ses marchands (environs de 1520–1580). Paris; La Haye, 1971. 2 vol.

¹⁴ *Goubert P.* Beauvais et le Beauvaisis de 1600 a 1730. Paris, 1960. Т. 1–2.

¹⁵ *Guenée B.* Tribunaux et gens de justice dans le baillage de Senlis a la fin du Moyen Age. Srasbourg, 1963.

¹⁶ *Richet D.* Une Famille de Robe: Les Sïguier avant le Chancelier. (These secondaire pour le doctorat d'Etat), 1964. Эта диссертация долгое время оставалась неопубликованной и так и не была защищена, однако материалы, собранные в исследовании, были достаточно широко известны многочисленным ученикам Д. Рише. Текст был опубликован в посмертном издании: *Richet D.* De la Rйforme a la Rйvolution: Etudes sur la France moderne. Paris, 1991.

защищенная уже в иную историографическую эпоху)¹⁷. В эти же годы территория Франции начинает описываться в монографиях, посвященных восстановлению жизни сельских¹⁸ и городских¹⁹ сообществ.

Всеобщей становится уверенность в том, что полноценное, поистине научное исследование — это исследование по социальной или социально-экономической истории, и что оно должно быть основано на массовом материале фискальных, нотариальных, приходских и иных источников, должно быть снабжено таблицами, графиками, диаграммами, с их помощью восстанавливающими “подлинные” структуры прошлого общества. Позже американский историограф Ф. Кэрард остроумно заметит, распространяя свое замечание впрочем, уже и на следующие поколения французских историков, что для них склонность к использованию серий фактов, статистических сводок и диаграмм по сути была своеобразной риторической фигурой, указывающей на приверженность автора к “рациональной” аргументации. Это придавало исследованию скорее больше внешней убедительности, чем достоверности.²⁰

Но локальные монографии были лишь частью большой, не вполне отрефлектированной, но подразумеваемой программы. В ту пору никто не отказывался от главной амбиции — охвата всей территории Франции, реконструкции ее реально существовавших социальных структур. В каком-то

¹⁷ Bourgeon J.-L. Les Colbert avant Colbert: Destin d'une famille marchande. Paris, 1973.

¹⁸ Le Roy Ladurie E. Les paysans de Languedoc. Paris, 1974. Vol. 1–2; Jacquart J. Société et vie rurale dans le sud de la région parisienne du milieu de XVI^e–au milieu du XVII^e siècle. Paris, 1971; Bouvet M., Bourdin P. M. A travers la Normandie des XVII^e et XVIII^e siècles. Caen, 1968.

¹⁹ Fedou R. Les Hommes de loi lyonnais à la fin du Moyen Age: Etude sur les origines de la classe de robe. Paris, 1964; Deyon P. Amiens, capitale provinciale: Etude sur la société urbaine au XVII^e siècle. Paris, 1967.

²⁰ Carrard Ph. Pratique de la Nouvelle histoire. Le discours historique français de Braudel à Chartier. Paris, 1998. Пользуюсь случаем выразить признательность Н.В.

Трубниковой, обратившей мое внимание на исследование Кэррарда.

смысле плодом обобщения стали коллективные труды, опубликованные уже в 70-е гг. — “История сельской Франции” и “Социальная история Франции”, но их трудно назвать результатом желаемого синтеза, они были написаны уже в иную историографическую эпоху²¹.

Но тогда, на рубеже 50-х и 60-х гг., речь шла не только о локальных монографиях, но о большем — об открытии тайны “подлинной” социальной иерархии, основанной на объективных критериях. В работах Аделин Домар и Франсуа Фюре, вдохновленных программой Лабрусса, была предпринята попытка описания французского общества на основе социо-профессиональной классификации, разработанной во Франции Национальным институтом статистики и экономических исследований (INSEE) в послевоенный период. Так родилась количественная и статистическая социальная история: Домар и Фюре выделили в итоге 23 большие категории населения, определяемые в зависимости от их роли в системе производства, профессиональной принадлежности и юридического положения. Причем основой для классификации послужили парижские нотариальные акты, правда, взятые для более позднего, чем интересующий нас, периода²².

Французская социальная история, позже получившее прозвище “социально-структурной” истории, конечно, же испытывала в ту пору как никогда сильное

²¹ Histoire économique et sociale de la France / Dir. par F. Br?udel et E. Labrousse. Paris, 1977. T. 1: De 1450 a 1660. 1. L’Etat et la ville / Par P. Chaunu et R. Gascon. 2. Paysannerie et croissance / Par E. Le Roy Ladurie et M. Morineau; Histoire de la France rurale / Sous la dir. de G. Dubi et A. Wallon. Paris, 1975. T. 2: L’Age classique des paysans: de 1340–1789 / Par H. Neveux, J. Jacquart, E. Le Roy Ladurie.

²² Daumard A., Furet F. Мйethodes de l’histoire sociale: Les archives notariales et мйcanographie // Annales E.S.C. 1959. Vol. 14. P. 676–693; *Eidem.* Structures et relations sociales a Paris au milieu du XVIII^e siacle. Paris, 1961; Daumard A. Structures sociales et classement socio-professionnel: L’apport des archives notariales au XVIII^e et au XIX^e siacle. Projet de codes socio-professionnel // Revue historique, 1962. Vol. 227. P. 139–154. Удачный анализ этих демаршей дан Н.Е.Копосовым в уже цитированной монографии “Как думают историки”

воздействие марксизма. Существенное его влияние на становление французской школы социальной истории настолько очевидно, что в данном очерке особо оговариваться не будет, хотя сама по себе история “хождения в марксизм” французских интеллектуалов достойна специального и увлекательного разговора. Равно как оставим мы за скобками и следующее по времени массовое увлечение французских историков – увлечение структурализмом, описанное в целом ряде солидных историографических трудов.

Что же касается марксизма, то следует иметь в виду, что многие историки имели личный опыт пребывания в Компартии, затем, как правило, покинув ее ряды, сохраняли отпечаток тех или иных модификаций марксистских теорий. Но характерно, что даже убежденные противники марксизма и люди, отнюдь не причастные к “левым” движениям и к тому же не разделявшие уверенности Лабрусса и тем более Альбера Собуля в классовой природе общества Старого порядка, также оказались втянуты в орбиту изучения социальных структур.

Историографический пейзаж социальной истории немислим без колоритной фигуры Ролана Мунье. Ученик известного французского правоведа Оливье-Мартена, Мунье снискал известность своей фундаментальной монографией, посвященной проблеме продажи государственных должностей²³. В 50-ые–60-ые годы он оказался в числе убежденных противников классового подхода к социальной истории Старого порядка, став одним из самых активных диспутантов на знаменитых коллоквиумах в Сен-Клу — форумах, посвященных проблемам социальной истории²⁴.

С точки зрения Мунье и его учеников, изучаемое ими общество было не классовым, а сословным²⁵. И положение той или иной группы на иерархической

²³ *Mousnier R. Venalité des offices. Rouen, 1945.*

²⁴ *L’histoire sociale: Source et méthodes. Colloque de l’Ecole normale supérieure de Saint-Cloud (15–16 mai 1965). Paris, 1967; Ordres et classes: Communications / Colloque d’histoire sociale, Saint-Cloud, 24-25 mai 1967. Paris, 1973.*

²⁵ Необходимо отметить досадную невозможность адекватного перевода. В нашей традиции под сословиями понимают, скорее, не “ordres”, но “etats” (например, термин “tiers état” переводят как третье сословие), в этом смысле “сословий” во

лестнице определялось не уровнем дохода, не обладанием наследственным или благоприобретенным имуществом, и уж, конечно, не местом в системе производства, но прежде всего — тем социальным престижем, который отводился обществом данной группе, в соответствии с закрепленными за этой группой социальными функциями. В подтверждение своего видения Ролан Мунье ссылаясь не на авторитет Маркса, Дюркгейма или Вебера, но на труды французских юристов начала XVII века, и в первую очередь на трактаты Шарля Луазо²⁶. Этот правовед, кстати, стал настолько популярным у французских историков автором, что Мишель Кутюрье посвятил свою локальную монографию именно Шатодену — городу, где родился и практиковал Шарль Луазо. На основе в первую очередь нотариальных источников Кутюрье восстанавливал социальные реалии, которые могли бы вдохновить юриста в его стремлениях выстроить по ранжиру все французское общество²⁷.

Школа Мунье не без основания критиковала последователей Лабрусса за чрезмерное увлечение количественными методами. Роль статистики признавалась, но ей отводилось подчиненное место по сравнению с качественным анализом. Но Мунье в не меньшей, а то и в большей степени, чем Лабруссу, было свойственно желание “ухватить” общество в его эмпирической реальности, восстанавливая “подлинную” социальную структуру. Для этого им был выбран такой важный источник, как нотариальные брачные контракты. Социальный строй покоился на важнейшем, по мнению Мунье, правиле: французы Старого порядка женились на

Франции было три, в крайнем случае, четыре. Число “ordres” было намного большим, и критерии их выделения были более сложными. Так, например, приходские священники и монахи или советники суда и адвокаты принадлежали к разным “ordres”. Можно было бы предложить в качестве эквивалента термин “чин”, но и он в русском языке нагружен особыми коннотациями.

²⁶ *Loyseau Ch. Traité des ordres et simples dignités // Les œuvres de maître Charles Loyseau, parisien. Paris, 1640.*

²⁷ *Couturier M. Recherches sur les structures sociales de Chateaudun, 1525–1789. Paris, 1969; Idem. Vers une nouvelle méthodologie micranographique: La préparation des données. Paris, 1966.*

ровне. Случаи неравных браков и мезальянсов, конечно, были, более того, они играли роль важнейшего канала социальной мобильности, но брачные контракты чутко реагировали на подобные отклонения от нормы соответствующим изменением состава приданного. Действительно, информативная ценность брачных контрактов огромна — помимо размеров приданного невесты и вклада жениха, позволяющих учесть и даже “взвесить” компоненты этого социального уравнения, в нем содержались ценнейшие сведения о социальных связях — горизонтальных (родственники) и вертикальных (свидетели), в число которых приглашались, как правило, вышестоящие люди. Мунье остроумно доказывал всю искусственность налагаемых на общество внешних рубрикаций. Он вспоминал характерную сцену, когда некий исследователь обнаружил 18 иерархических групп среди лиц наемного труда в Париже. Но на механографической карточке (забытой теперь перфокарте 60-х) для этой цели было предусмотрено лишь 10 мест, и тогда руководитель проекта велел сократить число групп до десяти, прибегнув к их укрупнению. “Бесполезно подчеркивать всю произвольность этого действия, — возмущался Мунье, — если восемнадцать категорий существовали в реальности, то надо было их сохранить, и отказаться от использования механографии вплоть до того момента, пока историк не будет обладать соответствующим для его целей оборудованием. То же самое относится и к статистике. Если общество реально фрагментировано на очень большое число слишком мелких категорий, то в этом и может состоять его определяющая черта, сущностный характер этого общества; следовательно, нужно с уважением относиться к этим категориям, даже если они и затрудняют статистическую обработку, и даже если временно придется отказаться от статистики. Статистика и механография должны быть на службе у историка, а не наоборот”²⁸ — в таком духе были выдержаны многочисленные реплики Мунье на коллоквиумах по социальной истории. Он настаивал на том, что подсчетам должны предшествовать кропотливые монографические изыскания в рамках семьи и квартала, с чем, впрочем, всегда соглашались его оппоненты.

²⁸ *Mousnier R. La plume, la faucille et le marteau: Institutions et société en France du Moyen Age a la Révolution. Paris, 1970. P. 15–16.*

Примечательно другое. Вступив в борьбу с теми представителями социальной истории, которые под влиянием марксизма видели общество прошлого поделенным на классы и большие социо-профессиональные группы, Мунье, не скрывавший своего идеалистического мировоззрения (что было в те годы своеобразным вызовом), занялся подсчетами и начал ломать голову над статистическими методами социального анализа. Совместно со своей “командой” он предпринимает глобальный зондаж фонда Центрального хранилища нотариальных актов, чтобы создать свою модель социальной иерархии парижского общества, по материалам брачных контрактов²⁹. Анализ выборки за тридцатые годы XVII в. позволяет ему выделить девять “сословий” (*ordres*) парижского общества, дополненных тридцатью пятью “промежуточными стратами”.

Им была написана специальная работа, посвященная социальным иерархиям³⁰. Ролан Мунье выделял в ней различные типы обществ в зависимости от принципа социальной иерархии: кастовые, сословные, “литургические” (к нему он относил Московское государство), “философские” (основанные на принципе личных заслуг и принесенной пользе общему делу). “Школа Мунье” особый акцент делала также на вертикальных связях, отношениях верности, клиентах, дополнявших горизонтальное членение общества Старого порядка.

²⁹ *Mousnier R. Recherches sur la stratification sociale a Paris aux XVII^e et XVIII^e siècles. L'échantillon de 1634, 1635, 1636. Paris, 1975.* В этой работе, впрочем, содержалось немало оговорок, подчеркивающих относительность этого типа источников.

³⁰ *Mousnier R. Les hiérarchies sociales de 1480 a nos jours. Paris, 1969* (характерно, что у нас ее поместили в спецхран, в чем можно увидеть доказательство признания ценности социальной истории и в нашей стране). См. также: *Mousnier R., Labatut J. P., Durand Y. Deux cahiers de la noblesse pour les Etats Généraux de 1649–1651. Paris, 1965. P. 9–49; Mousnier R. Problèmes de méthode dans l'étude des structures sociales des XVI^e, XVII^e XVIII^e siècles // Idem. La plume, la faucille et le marteau. Paris, 1970. P. 12–26.*

Апогеем социальной или социально-структурной истории стали colloquiums в Сен-Клу 1965 и 1967 годов³¹. Споры о путях социальной истории, о сословном и классовом делении общества, начавшиеся на материале французского общества Старого порядка, были распространены географически и хронологически, включив в свою орбиту антиковедов, востоковедов, медиевистов, специалистов по новейшей истории, этнологов.

Главной характерной чертой этого историографического периода является, на мой взгляд, формирование убежденности в том, что вопрос о социальной структуре общества является самостоятельным и самоценным предметом для исторического исследования. И даже, более того, что восстановление социальной структуры и является “волшебной палочкой”, объясняющей всю историю, поскольку главная причина всякого явления лежит в горизонте социальной (как вариант — социально-экономической) истории. И эту убежденность разделяли люди, придерживающиеся диаметрально противоположных взглядов.

Собственно, тогда и окрепла идея, что можно написать монографию или коллективный труд, описывая не события, но структуры, неподвижные кадры истории. А ведь побудительные импульсы к бурному развитию социальных исследований были даны извне. Социальная история изначально рассматривалась не как нечто самодовлеющее, но лишь как средство, как аргумент в споре о важнейших событиях истории. Для Франции таким событием, без сомнения, была, прежде всего, Великая Французская революция. В какой-то мере событием сопоставимого масштаба могли считаться Фронда и Религиозные войны.

В этом отношении примечательна историографическая судьба работы Б. Ф. Поршнева. Написанная в 1941 г. (в виде докторской диссертации) и опубликованная в 1948, его монография была затем издана в ГДР, став, таким образом, доступной для западных коллег, а затем усилиями Робера Мандру вышла в Париже в 1963 г., в самый разгар историографических дебатов на ниве

³¹ L’histoire sociale: Source et méthodes (Colloque de Saint-Cloud, 15–16 mai 1965). Paris, 1967; Ordres et classes: Communications (Colloque d’histoire sociale, Saint-Cloud, 24–25 mai 1967). Paris, 1973.

социальной истории³². Будучи подвергнут жесткой критике, Б. Ф. Поршнев защищался, отстаивая идею антифеодальной природы всех крестьянских и городских восстаний, равно как и самой Фронды. С его точки зрения, весь XVII век был преисполнен многочисленными “Жакериями”, тщательно скрываемыми буржуазной историографией. Общество XVII века трактовалось советским историком как глубоко феодальное по своей природе. Буржуазия того периода также “феодализировалась”, совершив предательство по отношению к своей исторической миссии.

Иногда говорят, что французские историки разделились тогда на “поршнеvistas” и “анти-поршнеvistas”³³. Это не совсем так, просто противники Мунье использовали идеи Поршнева как некий таран, нацеленный против школы, отрицающей наличие классовой структуры в обществе Старого порядка. При этом и Робер Мандру и Фернан Бродель (инициировавшие французское издание Поршнева), вовсе не спешили солидаризироваться с утверждениями нашего соотечественника, к тому же их явно шокировал непривычный, слишком уж “советский” стиль полемики. Но примечательно, что хотя Б.Ф. Поршнев все время о классах, сословиях и социальных отношениях, его нельзя было отнести к представителям социальной истории в том ее понимании, которое уже сложилось в 60-ые годы. И не методология тому причиной, но, прежде всего, характер используемых источников. Донесения провинциальных интендантов, переписка канцлера Сегье ориентировали на событийную, политическую историю, в данном случае — на историю классовой борьбы. Те заявления о природе социальных классов и о социальной структуре общества, которые содержались в данной работе, никак не были подкреплены ставшим уже необходимыми для “шестидесятников” процедурами социального анализа. Впрочем, “вины” Поршнева в данном случае никакой не было — его работа писалась в тот период, когда социальная история

³² *Porchnev B. F. Les soulèvements populaires en France de 1623 à 1648. Paris, 1963 (2^e éd. abrégée — Paris, 1972).*

³³ *Bume O. Творческое наследие Б. Ф. Поршнева и его современное значение // Полития. 1998. № 3.*

еще не конституировалась в особую дисциплину, к тому же в особых историографических условиях и в специфических методологических рамках.

Впоследствии Б. Ф. Поршнев обратился если не к социальной, то к социально-экономической проблематике, написав работу по политэкономии феодализма. По счастью для его французских союзников, она не была переведена на европейские языки. Нетрудно представить себе, что сказал бы такой знаток французского права, каким был Ролан Мунье, прочитав утверждение, что феодальная собственность — это собственность феодала. Ведь Поршнев трактовал максимум французского права, гласившую, что каждая земля должна иметь “*titre de propri  t  *” (т. е. документ, подтверждающий право собственности), как доказательство того, что при феодализме земельными собственниками могли быть только лица, имеющие дворянский титул³⁴.

Следует отметить, что самыми убежденными критиками Б. Ф. Поршнева были его советские коллеги и, особенно, А. Д. Люблинская. Ее возражения были тем ценнее, что основывались на чтении тех же источников, что использовал и Поршнев, постоянно изобличаемый ею за допущенные натяжки³⁵. Она по-иному оценивала социальную сущность французского абсолютизма, иной было и видение ею социальной структуры французского общества, в котором она выделяла семь групп: высшая знать (“гранды”), родовитое дворянство, новое дворянство,

³⁴ Поршнев Б.Ф. Очерк политической экономии феодализма. М., 1956. С. 35. Эта фраза не была опечаткой, она повторена в издании книги “Феодализм и народные массы” (М., 1964. С. 33), на ней основаны были последующие выкладки (С. 52–54). Трудно не присоединиться к словам И. С. Филиппова о том, что высказывания Поршнева на это счет вызывают лишь чувство неловкости (см. *Филиппов И. С. Средиземноморская Франция в раннее средневековье: Проблема становления феодализма.* М., 2001. С. 637).

³⁵ См. любопытный анализ “анти-поршневской” полемики в работе Кондратьевой Т.Н. “Абсолютизм”, “Народные массы”, “Буржуазия” и Фронта в трактовке Б.Ф.Поршнева в 30-40-е годы //Европа. Международный альманах. Тюмень, 2002. С 126-147

чиновничество, буржуазия, городские низы — плебейство и крестьяне³⁶. Публикуемые в ее монографиях социальные экскурсы были достаточно пространны. Но они носили в основном вспомогательный характер — интересы А. Д. Люблинской лежали, главным образом, в сфере истории событийно-политической, а не социальной. В немалой степени это также объяснялось характером имевшихся в ее распоряжении источников, тем более, что она обладала повышенной источниковедческой щепетильностью. Впрочем, в последний период жизни А. Д. Люблинская опубликовала исследование по аграрной истории Франции, опираясь на трактаты XVI–XVII вв. по сельскому хозяйству и на достижения новейшей по тем временам французской историографии, то есть на труды историков славной эпохи локальных монографий. Ей удалось дать отечественному читателю максимально полное, свободное от схематизма представление не только о проблемах французской аграрной истории, но и о социальном быте французского деревенского общества³⁷. Предпринятое усилие, по-видимому, являлось осторожной попыткой противостоять все еще бытовавшему в советской историографии тезису о феодальной сущности французского абсолютизма и о по преимуществу феодальной природе французского общества Старого порядка.

Итак, в 50-е – 60-е гг. социальная история кристаллизовалась в самостоятельную субдисциплину, со своим научным языком, своими частными методиками, социальными институтами, “табелью о рангах”.

Социальная история приучила к мысли о том, что солидное исследование должно было изобиловать таблицами и графиками, основываться на использовании массового материала, лучшим из которых почитались нотариальные акты, ранее отнюдь не избалованные вниманием историков. История событийная если и не признавалась всеми как история “второго сорта”, то, во всяком случае, в глазах историков была детерминирована социальными причинами, интерпретируемыми в рамках социальной истории.

³⁶ Люблинская А. Д. Франция в начале XVII века. Л., 1959. С. 44–101;

Lublinskaia A. D. French absolutism: The crucial phase, 1620-1629. Cambridge, 1968.

³⁷ Люблинская А. Д. Французские крестьяне в XVI–XVIII вв. Л., 1978.

Всем было ясно, что видение общества сквозь призму социальной истории связано с марксизмом и со структурализмом. Между этими двумя системами отношения были весьма сложными, но, во всяком случае, на французской почве намечались тенденции к их взаимному сближению³⁸. Все участники коллоквиумов в Сен-Клу гораздо чаще говорили о моделях и структурах, чем о событиях.

Характеризуя это историографическое течение мысли, надо отметить, что даже ведя ожесточенные дебаты друг с другом, спорщики подспудно признавали, следуя Лабруссовой идее, автономию социального по отношению как к экономике, так к политике и культуре, возможность понимания социального “в своих собственных терминах”, при помощи собственных социальных критериев, а не юридических или политических. При этом налицо была некая реанимация стратифицированного образа истории, казалось, отвергнутого Люсьеном Февром и Марком Блоком. Экономическое воздействовало на социальное, социальное воздействовало на политику и культуру. Социальное выступало тормозом по отношению к экономике, идеология, политика и культура тормозили социальные изменения. Эта убежденность вполне соответствовала подзаголовку “Анналов”, которые с 1946 по 1995 г. назывались “Анналы: Экономики. Общества. Цивилизации” в соответствии со стратифицированным восприятием исторического процесса.

Как остроумно подметил Н.Е.Копосов, если для Блока и Февра речь шла об “эфире социального”, то Лабрусс говорил о “тяжелой материи социального”, используя метафору кубиков, из которых складывается общество. Для этой социально-структурной истории было характерно убеждение в возможности восстановить, наконец, эмпирически-наблюдаемую подлинную социальную иерархию, очищенную от идеологических наслоений и предубеждений историков, существующую объективно. Эта надежда, равно как и узкое понимание предмета социальной истории, умирала последней. В нашей стране в силу многих причин обе этих уверенности дожили до последних лет советской эпохи.

“Эта книга по социальной истории.... Это – история, которая имеет предметом социальные группы, их стратификацию и отношения” и главной задачей которой является “выделить и описать разные социальные группы. Под социальной группой

³⁸ La Nouvelle histoire. Paris, 1978.

в данном случае имеется в виду общность людей, представляющая собой реальное единство, “единство существования”. Ее члены не только отвечают определенному набору социологических характеристик, но и составляют среду, то есть общаются между собой больше, чем с представителями других социальных групп”³⁹. Так начиналась первая монография все того же Н. Е. Копосова, посвященная изучению высшей бюрократии периода персонального правления Людовика XIV и бывшая, по моему убеждению, вершиной того, что было достигнуто в нашей стране на ниве “классической” социальной истории. В ту пору я, например, с удовольствием подписался бы под этими словами.

Буквально в то же время Н. Земон Дэвис, принимавшая участие в памятном московском коллоквиуме 1989 г., посвященном “Школе Аналов”, с удивлением делилась своими впечатлениями: “В середине совещания молодой российский историк взял слово: “Мы всегда верили “Анналам”, поскольку они противостояли марксизму. Но теперь нам уже довольно их культурной истории и ментальностей”. И затем, постучав кулаком по столу, он сказал: “Мы хотим реальности!”⁴⁰.

Американская исследовательница была удивлена: ведь аудитория отнюдь не из “мастодонтов”, но из почитателей школы “Анналов”, т.е. издания, к тому времени уже лет двадцать как отошедшего и от социально-структурной парадигмы и от желания непосредственно осязать историческую реальность. Она объяснила это особенностями переживаемой СССР драматической эпохи и естественным “взрывом” историзма. Нет, просто мы еще жили тем же желанием, что и Лабрусс — докопаться до “настоящих” социальных реалий, или Мунье, который надеялся, что социальное уже классифицировало самое себя в брачных контрактах, так что оставалось только непосредственно наблюдать ее, а, следовательно, - восстановить подлинную социальную иерархию, и тем самым понять главное в истории.

³⁹ Копосов Н. Е. Высшая бюрократия во Франции XVII века. Л., 1990. С. 3. В приводимой цитате автор соединяет вместе дефиниции социальной истории, данные Э. Лабруссом, Р. Мунье, А. Домар, Ф. Фюре, Э. Хобсбоума и Ж. И. Тира.

⁴⁰ Davis N. Zemon. Stories and the Hunger to Know // The Yale Journal of Criticism. 1992. Vol. 5. N 2. P. 159.

Этот великий социально-исторический проект стал испытывать трудности уже на рубеже 60-х и 70-х годов. Локальные монографии вовсе не собирались “склеиваться” в единое целое, но, напротив, делали синтез все более затруднительным. Строгие правила определения наблюдаемых категорий, выкованные за годы дискуссий, приводили к любопытному парадоксу — определения становились все строже, а рассматриваемые группы постепенно “рассасывались”, поскольку при ближайшем рассмотрении выяснялось, что под это строгое определение подпадает все меньшее число индивидов. Невозможность описать, например, дворянство, так как предписывает аристотелевская логика — соблюдение требований “необходимых и достаточных условий” приводит к тому, что в правовом статусе дворянства не находят ни одной черты, которую разделяли бы все дворяне и никто кроме них. Следующим шагом будет в таком случае трактовка дворянства как мифа, историографической химеры. Изначальная установка на погоню за эмпирической реальностью и только за ней, приведет к постоянному “бою с тенью” — к борьбе против “реификации” историографических терминов⁴¹.

К тому, что чрезмерное увлечение социальным анализом (особенно тем, что основан на количественных методах) приводит к аннигиляции событий, историки уже привыкли, хотя и не смирились⁴². Но то, что последовательный социальный анализ приводит к аннигиляции макрогрупп, трактуемых как конструкты — это было шокирующим обстоятельством. Так, например Жан-Пьер Шалин в своем исследовании, посвященном буржуазии города Руана пришел к выводу, что всякое определение буржуазии бесполезно, поскольку нет ничего общего между буржуазией Гавра и Руана, да и в самом Руане буржуазия распадается на весьма далекие друг от друга в социальном плане группы. Если продолжить эту мысль, сетует Ж. Нуарьель, то более дробные категории будут возводиться уже и в рамках

⁴¹ Об этом см.: *Копосов Н. Е.* Как думают историки... С. 53, а также Уваров П.Ю. Думают ли историки, а если думают, то зачем? // “Одиссей-2003” М., 2003

⁴² *Данилов А. И.* Историческое событие и историческая наука // Средние века. М., 1980. Вып. 47. С. 13–31.

одного квартала, одной профессии, все более затрудняя возможности научной коммуникации⁴³.

Спор о сословиях и классах тихо закончился “вничью”, несколько незаслуженно прославившись как образец методологической бесплодности. Дискуссия стала – лишенной смысла, поскольку в конце концов за обществом признали право на множественность иерархий, что лишило дискуссию смысла⁴⁴. Но она выявила, что выдвигаемые “рабочие гипотезы” и модели предопределяют результаты исследования, под которые историк должен лишь подобрать соответствующие данные нотариальных актов. Через много лет Бернар Лепти оценит спорщиков весьма саркастически, так сформулировав рецепт их деятельности: “ради спасения той или иной классификации в качестве простейшего аргумента против конкурирующей исторической интерпретации сослаться на авторитет - прибегая к Марксу как к теоретику классов или же к какому-либо старинному теоретику сословий; классификации, в которых общества того времени сами себя мыслили отнести к разряду идеологии и утверждать, что традиционное видение лишь маскирует “глубинные реалии” прошлого; постулировать фундаментальную простоту реального, познание которого прогрессирует посредством сведения к единому принципу; реифицировать аналитические категории, с тем чтобы придать силу самоочевидного закодированному описанию, к которому сводится социальный анализ; наконец, отрицать за социальными актерами их творческую способность”⁴⁵.

В этих словах — приговор всему социально-структурному направлению. Повторим пункты обвинения: погоня за “объективным” при пренебрежении к “субъективному”, то есть к тому, как общество мыслило себя само; игнорирование творческой способности исторических действующих лиц, реификация категорий, создаваемых историком, казалось бы, в служебных целях, недооценка сложности процесса исторического познания. Приговор этот подкреплён множеством

⁴³ *Noiriel G.* Sur la crise de l’histoire. Paris, 1996.

⁴⁴ *La nouvelle histoire...* P. 519.

⁴⁵ *Лепти Б.* Общество как единое целое. О трех формах анализа социальной целостности // *Одиссей*, 1996. М., 1996. С. 153.

историографических работ, отмечавших смену главенствующего направления с беспокойством, с осуждением, а затем и с сочувствием⁴⁶. Те, кто больше всех считали и высчитывали, осознали, что исторической объективности нет, и что историк сам конструирует свои факты⁴⁷. Но примечательно, что сомнения высказывались уже и в Сен-Клу, где звучали призывы восстанавливать историю в терминах эпохи (отметим, что инициативу в этом вопросе перехватили медиевисты)⁴⁸. Уже одно это делает эти дискуссии вовсе не столь бесплодными, как они представляются в историографии.

Б. “Новая историческая наука”, “история в осколках”, новые “вызовы” и “повороты” (70-ые–начало 90-х гг.)

“Новая историческая работа и социальная история”. — Когда началась “новая историческая наука”? — Судьбы ментальностей. — Казус Райцеса. — Социальная история в новых условиях. — Тариф капитации как синтетическая социальная иерархия. — “Французские джентри” Джорджа Хапперта. — “Разочарованные интеллектуалы”. — Микроистория по-итальянски.

⁴⁶ Соколова М. Н. Современная французская историография. М., 1979; Далин В. М. Историки Франции XIX–XX веков. М., 1981; Афанасьев Ю. Н. Историзм против эклектики: Французская историческая школа “Анналов” в современной историографии. М., 1983; Гуревич А. Я. О кризисе современной исторической науки // Вопросы истории. 1991. № 2/3. С. 21–36; Ретина Л. П. “Новая историческая наука” и социальная история. М., 1998.

⁴⁷ Furet F. L’histoire quantitative et la construction du fait historique // Annales. E. S. C. 1971. N 1. P. 63–75.

⁴⁸ Для подобных изысканий особенно удобны “молодые” общества. Например, исследования по французской социальной терминологии XII–XIII веков: Battany J. Le vocabulaire des catégories sociales chez quelques moralistes français vers 1200 // Ordres et classes: Communications (Colloque d’histoire sociale, Saint-Cloud, 24–25 mai 1967). Paris, 1973. P. 59–79; Michaud-Quantin P. Le vocabulaire des catégories sociales chez les canonistes et moralistes du XIII^e siècle // Ibid. P. 73–86; Le Goff J. Le vocabulaire des catégories sociales chez Saint François d’Assise et ses biographes du XIII^e siècle // Ibid. P. 93–123.

Новое, то, что пришло на смену, без ложной скромности стало называть себя “новой исторической наукой”. В одноименном словаре, сыгравшем роль манифеста этого направления, к социальной истории относились не без симпатии, но как к чему-то сходящему со сцены. Отмечались зримые черты изменений в русле исторической антропологии, “более чувствительной к истории отношений, чем к истории структур”⁴⁹, более внимательной к символическим значениям, чем к экономическим связям. Интерес к анатомии целостной социальной ткани сменился фрагментированным подходом к отдельным социальным сегментам, выделенным по их функциональной идентичности (семья, возрастные группы, ремесла), либо по их религиозной или идеологической общности, либо на основе специфических связей социальности (например, академии, масонские ложи, клубы, кружки)⁵⁰.

Статью о социальной истории писали два в ту пору молодых историка — Даниель Рош и Роже Шартье, ставшие теперь бесспорными обитателями Олимпа французской, да и международной исторической мысли. Перспектива была определена верно. На смену социально-структурной истории спешила история ментальностей, историческая антропология. Но не только она. Коллектив авторов словаря “Новой исторической науки” предвидел далеко не все. Так, например, в их словнике вообще отсутствовал термин “политическая история”, вероятно, как безнадежно устаревшее понятие. Однако последнее десятилетие XX в. будет во Франции периодом торжества политической истории. Не предвидели авторы и последствий “лингвистического поворота”, и сейсмических толчков деконструктивизма и многого другого.

Впрочем, пришла пора вспомнить о сделанных в самом начале данного очерка оговорках. Прав был Лоренс Стоун, защищая свое поколение, поколение 50–60-х

⁴⁹ Эта фраза, взятая из размышлений “новых историков” о себе, очевидно, может вызвать существенное возражение. Для французского гуманитарного знания влияние Леви-Стросса, а через него — структурализма было чрезвычайно ощутимым. Поэтому внимание исследователей к истории структур не могло сильно ослабеть. Просто это были уже иные структуры и структурализм активно применялся к истории самых разнообразных отношений.

⁵⁰ La nouvelle histoire. Paris, 1977. P. 519.

годов. “Я полагаю, что за некоторыми примечательными исключениями, мы вовсе не напоминали тех позитивистских троглодитов, которыми нас теперь часто представляют”⁵¹.

И действительно, не историки из третьего поколения “Анналов” выступили пионерами изучения ментальностей, но именно, отцы-основатели “социально-структурной истории”. Первым был, по всей видимости, Робер Мандру, с его знаменитой книгой по социальной психологии⁵², а затем и по истории ведовских процессов. Эти опыты, кстати, повлияли на любопытную эволюцию взглядов Б. Ф. Поршнева, обратившегося к проблемам социальной психологии (правда уже не на французском материале)⁵³. Но и многократно упоминавшийся уже участник дискуссии о классах и сословиях, Ролан Мунье, издал в 1964 г. знаменитую книгу “Убийство Генриха IV”, шедевр французской историографии, вполне сопоставимый с “Королями-чудотворцами” Марка Блока⁵⁴. Любопытно, что изыскания по социальным классификациям, предпринимаемые в то время и самим Мунье, и его учениками, остаются почти не востребованными в этой монографии, главное в ней - соединение “истории идей” с восстановлением мира чувств, переживаний, индивидуальных и коллективных мотиваций, с экскурсами в то, что вскоре получит название “истории памяти”. Талантливый историк (а таланта Мунье не отрицали и его многочисленные противники) оказывается в некоторые моменты свободен и от собственных стереотипов и от историографической моды, что дает ему возможность обогнать свое время.

Примерно в то же время написал свою кандидатскую диссертацию В. И. Райцес. Его исследование об Аженском восстании 1514 г., защищенное в Ленинграде в

⁵¹ Цит. по: *Репина Л. П.* “Новая историческая наука” и социальная история. М., 1998. С. 232.

⁵² *Mandrou R.* Introduction a la France moderne: Essai de psychologie historique (1500–1640). Paris, 1961; *Idem.* Magistrats et sorciers en France au XVII^e siacle: Une analyse de psychologie historique. Paris, 1968.

⁵³ *Поршнев Б. Ф.* История и социальная психология. М., 1966.

⁵⁴ *Mousnier R.* L’assassinat de Henri IV. Paris, 1964. Работа, самым удивительным образом абсолютно не знакомая отечественной публике.

1968 г, было посвящено самому распространенному в советской историографии (и даже уже начинавшему выходить из моды) сюжету — эпизоду из истории классовой борьбы. Защита была успешной, однако эта работа была опубликована лишь четверть века спустя, уже в постсоветское время, в последние годы жизни автора. Кто-то бдительный — может быть, издательское, может быть, академическое руководство, а может быть, чины из “компетентных органов” (не исключено, что это были одни и те же люди) — оказался наделен историографическим чутьем: издание, не претендовавшее на обобщение и не содержащее видимых расхождений с господствующим марксизмом, слишком уж выделялось из общей массы стилистически. Опубликовав работу только в постсоветском 1992 г.⁵⁵, автор не сделал в тексте четвертьвековой давности ни одной смысловой правки, но книга, тем не менее, оказалась в высшей степени актуальной в России 90-х гг. В ней было удачное сочетание анализа социальных структур с глубоким знанием реалий французского Юга, с раскрытием социально-психологических пружин восстания, основанном на анализе индивидуальных побудительных мотивов, на внимании к системе знаков и жестов, — все это сопровождалось способностью вписать событие в контекст истории большой длительности и, наконец, было помножено на способность писать умно и доходчиво. Конечно, ему неслыханно повезло с источником — из Аженского архива ему прислали микрофильмы, содержащие материалы расследования этого события (1700 страниц текста, исписанного бастардой), что дало ему возможность стать первым (и последним) советским медиевистом, полностью написавшим свое исследование на зарубежных архивных материалах. Но хотя соответствующие термины пришли в нашу историографию много лет спустя после защиты В. И. Райцеса, его работу вполне можно было квалифицировать и как историко-антропологическое, и как микроисторическое, и как историко-психологическое исследование, и как работу по истории исторической памяти, и как столь чаемое на рубеже XX–XXI в. исследование в жанре обновленной социальной истории. Причина же такого “прозрения”, по всей видимости, столь же проста, сколь и трудно поддается методологическому анализу — историк хорошо работал с интересным источником, внимательно читал труды

⁵⁵ *Райцес В. И.* Аженская коммуна. Л., 1992.

своих коллег, обладал исторической интуицией, писал интересно и, главное, был талантлив.

Не хотелось, чтобы создалось впечатление, что социальная история даже в ее узком значении умерла тогда, в начале 70-х годов. Прежде всего, продолжались поиски новых подходов к социальным иерархиям. Любопытную работу опубликовали Франсуа Блюш и Жан-Франсуа Сольнон — “Подлинная социальная иерархия Старой Франции: Тариф первой капитации (1695)”⁵⁶. В ней анализировалась тариф первого всеобщего подоходного налога. В ходе этой беспрецедентной (и вызванной экстраординарными военными тяготами) операции королевские финансовые интенданты разбивали французское общество на 22 класса, объединяющих 569 рангов в зависимости от ставки взимаемого налога. Это и была, по мнению авторов, столь искомая участниками дискуссии о классах и сословиях, единая (“синтетическая”) социальная иерархия. Она отражает реальную структуру французского общества, которая и соответствует мнениям современников (по принципу: “современникам виднее”), и носит вполне объективный характер (финансовый документ, все-таки). Вместе с тем, по мнению авторов, данные этого источника можно использовать для вычленения индивидуального ранга практически любого подданного “Короля-Солнце”.

Коллеги встретили открытие “истинной” иерархии весьма настороженно. Главным возражением был сугубо утилитарный и продиктованный конъюнктурой характер этого источника. Но даже если абстрагироваться от того, что данный документ трудно распространить на иные периоды Старого порядка, он представлял собой лишь частный случай социальных классификаций, свойственных той эпохе. Хотя само по себе появление весьма симптоматично — подобный Тариф органически не мог возникнуть в предыдущем, XVI столетии⁵⁷.

⁵⁶ *Bluche F., Solnon J.-F. La véritable hiérarchie sociale de l'Ancienne France: Le Tarif de la première capitation (1695). Genève, 1983.*

⁵⁷ См. развернутую критику когнитивных механизмов анализа Блюша-Сольнона во все той же кн. *Копосов Н. Е. Как думают историки. С. 152*, там же рассуждения о рождении социального из пространственных паралогик — С. 157. См. также:

При том, что рассуждения о социальной структуре общества в целом постепенно сходили на нет, традиции социально-исторических исследований продолжались, и, несмотря на появление новых “центров притяжения” внимания исследователей, социально-исторические штудии вовсе не были оттеснены на периферию исторического знания.

Так, с большим интересом было встречено появление работы американского историка Джорджа Хапперта⁵⁸. Книга этого чикагского профессора, опубликованная в 1977 и переведенная на французский язык в 1982 г., носила подзаголовок: “Опыт определения элит Ренессансной Франции”. Опираясь на трактаты юристов начала XVII в., Хапперт, ретроспективно распространяя полученные данные на весь XVI в., выделяет особую социальную группу, особую “фракцию” элиты, занимающую промежуточное положение между дворянством (родовитым, традиционным) и буржуазией. По большей части это были судейские и должностные лица, обозначаемые в нотариальных актах как “благородные люди” (*nobles hommes*), но этот титул в XVI в. утратил уже свой дворянский характер. Этот слой невозможно описать, основываясь на юридических, экономических и профессиональных параметрах. Кто-то из них уже получил “настоящий” титул (экюйе, шевалье), кто-то только начинал приобретать сеньории, кто-то был богаче, кто-то беднее, кто-то владел королевской должностью (*office*), кто-то служил адвокатом, прокурором или секретарем у какого-нибудь влиятельного лица. Но, как показывал Хапперт на основе анализа писем, дневников и свидетельств сторонних наблюдателей, этот слой обладал развитым самосознанием, культурным единством (как правило, они имели университетские степени, были библиофилами, знания для них были важным средством социальной мобильности и самоидентификации), социальной сплоченностью (среди них действовал принцип социальной эндогамии, столь важный для Ролана Мунье). Не без эпатажа Джордж Хапперт обозначил эту группу термином, совершенно чуждым французским реалиям, чтобы избежать

Согомонов А. Ю., Уваров П. Ю. Открытие социального (парадокс XVI века) // Одиссей, 2001. М., 2001. С. 199–215.

⁵⁸ *Huppert G. Les bourgeois gentilshommes: An essay on the definition of elites in Renaissance France. Chicago; London, 1977.*

нежелательных коннотаций. Он выбрал для них английский термин “джентри” (тем самым непроизвольно совпадая с тезисом А. Д. Люблинской о “новом дворянстве”).

Уязвимые места концепции Хапперта вполне очевидны. Данные нотариальных источников он заимствует из вторых рук (основываясь на упомянутой уже работе Мишеля Кутюрье о Шатодене — родине Шарля Луазо, на изысканиях Ролана Мунье). Выводы о самосознании, о “культе разума” и некотором “чувстве превосходства” по отношению к традиционному дворянству он извлекает из трудов “характерных представителей джентри”, таких как Монтень или Этьен Пакье, полагая французский гуманизм порождением этой социальной группы. Это утверждение само по себе достаточно спорно, и уж, во всяком случае, из него не следует обратный вывод о том, что гуманизм выражает интересы “чиновников”-“джентри”. Кстати, выбор подобного ракурса Хаппертом вполне объясним, ведь он является специалистом по французскому гуманизму⁵⁹. Он настолько увлечен высказанной гипотезой, что, сочтя ее доказанной, строит на ней все остальные выводы. Он, например, причисляет к искомой группе “джентри” нормандского сельского дворянина сира де Губервиля, автора широко известного среди историков “Дневника”, только на том основании, что Губервиль предстает рачительным хозяином, чуждым генеалогическим изысканиям и воинской славе. Но это — мелкие придирки. Гораздо серьезнее другое. Поставив знак равенства между “джентри” и гуманизмом, точнее, сделав “джентри” его социальной базой и носителем, Хапперт и дальше полагает, что именно этой слой стал движущей силой Реформации и движения “политиков” и более позднего янсенизма. Против них была направлена Контрреформация, а позже и политика Людовика XIV, которая осложнила отношения “джентри” с монархией со всеми вытекающими отсюда в следующем столетии последствиями. При этом автор упускает из виду, что лидеры Контрреформации, творцы “века святых”, также были выходцами из того же социального слоя.

⁵⁹ См. его монографии: *Huppert G. The Idea of Perfect History. N. Y., 1970; Idem. Public Schools in Renaissance France. Urbana, 1984; Idem. The style of Paris: Renaissance origins of the French Enlightenment. Bloomington, 1999.*

Исследование Хапперта пришлось как нельзя кстати во французской историографии. Оно оставляло впечатление свежей струи, примера удачного соединения историко-культурных и историко-социологических жанров, подкупало масштабностью и смелостью — хотя речь шла не обо всем французском обществе, Хапперт нащупывал “мотор” его социальной и культурной динамики. Показателем популярности этой гипотезы может служить тот факт, что Фернан Бродель, никогда не выступавший в жанре собственно социальной истории, в своем монументальном сочинении опирался на выводы Хапперта как на само собой разумеющиеся очевидные истины, распространяя их и за пределы Франции. “По мнению Жоржа Юппера⁶⁰, это дворянство мантии от своего зарождения в XVI в. и вплоть до Революции находилось в самом центре судеб Франции, “творя ее культуру, управляя ее богатством и создавая одновременно Nation и Просвещение, создавая самое Францию”. Книга Жоржа Юппера имеет то преимущество, что примерно очертила французские особенности, подчеркнула самобытность дворянства мантии в его генезисе и в сыгранной им политической роли. Тем самым она не без пользы привлекает внимание к уникальному характеру каждой социальной эволюции. Причины были повсюду очень сходными, но решения различны”⁶¹.

Оставим в стороне вопрос о степени обоснованности гипотезы Хапперта. Видимый успех его работы был вызван, по-видимому, тем, что, оставаясь в рамках столь привычной для французов социальной истории, он отвечал требованиям сближения этой истории с актуальным в ту пору поворотом в сторону истории культуры. Выводы Хапперта были во многом подвергнуты сомнению в исследовании Бернара Килье, посвященном должностным лицам Парижского

⁶⁰ Почему-то русские переводчики воспроизводят фамилию чикагского профессора на французский манер.

⁶¹ Braudel F. *Civilisation matérielle, économie et capitalisme. XV^e–XVIII^e siècles*. Paris, 1979. Т. 2: *Les Jeux de l'échange* (в русском переводе: Бродель Ф. Материальная цивилизация, экономика и капитализм. XV–XVIII вв. М., 1988. Т. 2: Игры обмена. С. 492).

региона за период между Столетней войной и Религиозными войнами⁶². Правда, исследование самого Бернара Килье было подвергнуто достаточно жесткой критике со стороны коллег, в частности, со стороны Франсуазы Отран, занимающейся историей Парижского Парламента в XV в.

Последняя четверть века вовсе не свидетельствовала о прекращении социально-исторических исследований. Они, как правило, не носили всеобъемлющего характера, но унаследовали лучшие черты из истории предыдущего периода. Прежде всего хочется отметить просопографические исследования, посвященные восстановлению социального портрета той или иной группы элиты: королевских нотариусов-секретарей⁶³, клерков королевской канцелярии⁶⁴, докладчиков Палаты прошений королевского дворца⁶⁵, финансистов⁶⁶, высшего духовенства⁶⁷. То же можно сказать и о таком трудном жанре как история отдельных семей⁶⁸.

⁶² *Quilliet B.* Les corps d'officiers de la prévôté et vicomté de Paris et de l'Ile-de-France de la fin de la guerre de Cent Ans au début des guerres de Religion: Etude sociale. Lille, 1982. 2 vol.

⁶³ *Lapeyre A., Scheurer R.* Les notaires et secrétaires du Roi sous les règnes de Louis XI, Charles VIII et Louis XII (1461–1515): Notices personnelles et généalogiques. Paris, 1978. 2 vol.

⁶⁴ *Le Clech Charton S.* Chancellerie et culture au XVI^e siècle (les notaires et secrétaires du roi de 1515 à 1547). Toulouse, 1993; *Michaud H.* La grande Chancellerie et les écritures royales au XVI^e siècle (1515–1589). Paris, 1967.

⁶⁵ *Etchehoury M.* Les maîtres des requêtes de l'Hôtel du Roi sous les derniers Valois (1553–1589). Paris, 1991.

⁶⁶ *Hamon Ph.* L'argent du Roi: Finances et gens de finances au temps de François I^{er}. Paris, 1994; *Idem.* Messieurs des finances: Les grands officiers de finance dans la France de la Renaissance. Paris, 1999.

⁶⁷ *Peronnet M.* Les Evêques de l'ancienne France (1516–1790). Paris; Lille, 1976; *Baumgartner F.* Change and Continuity in the French Episcopate: The Bishops and the Wars of Religion, 1547–1610. Durham, 1986.

⁶⁸ *Hervier D.* Pierre le Gendre et son inventaire après décès: Une famille parisienne à l'aube de la Renaissance. Etude historique et méthodologique. Paris, 1977.

Эти и другие работы имеют непреходящую ценность, и прежде всего, по той причине, что, вне зависимости от выводов авторов, они обогащают нас конкретно-историческим знанием, учитывающим не только экономическое положение и социальные связи исследуемых групп, но и добавляя черты к их культурно-психологическому портрету.

В 80-х гг. во французской историографии все чаще использовался образ “истории в осколках”⁶⁹. Это означало, что прежняя парадигма социально-структурной истории ушла в прошлое (но, как мы видим, не исчезла совсем), новая же, несмотря на амбиции сторонников “новой социальной истории”, “исторической антропологии”, “тотальной истории” так и не сумела завоевать господствующего положения, хотя достигнутые ею успехи не подлежат сомнению. Для нас важно, что, оспаривая постулаты социально-структурной истории, сторонники новых направлений сохранили традицию уважительного отношения к нотариальным актам и иным источникам массового характера. Так, например, Пьер Шоню, считавший, что история должна заняться “основным — то есть эмоциональным, ментальным, психическим”⁷⁰, предпринял исследование отношения к смерти в Париже по материалам нотариальных актов XVI–XVIII вв.⁷¹ Эта работа была призвана “подкорректировать” некоторые предположения, высказанные Филиппом Ариесом в его нашедшей книге “Человек перед лицом смерти”⁷². Задача Шоню, в частности, состояла в том, чтобы придать выводам Ариеса более обоснованный характер. Замысел Шоню поражал своей масштабностью: ведь обследовались тысячи завещаний парижан. Для решения этой задачи под руководством Шоню была создана целая группа из молодых историков-дипломников, каждый из которых обследовал ту или иную нотариальную контору. На мой взгляд, работа по систематизации этих данных не была доведена Шоню до логического конца,

⁶⁹ *Dosse F.* L’histoire en miettes: Des “Annales” a la “Nouvelle histoire”. Paris, 1987.

⁷⁰ *Далин В. М.* Указ. соч. С. 256.

⁷¹ *Chaunu P.* La Mort a Paris: XVI^e, XVII^e et XVIII^e / Avec la collaboration d’A. Pardailh-Galabrun et al. Paris, 1978.

⁷² *Arius Ph.* L’homme devant la mort. Paris, 1977; *Idem.* Histoire des populations franaises et de leurs attitudes devant la vie depuis le XVIII^e siacle. Paris, 1971.

сохраняя специфически “осколочный” характер сведений большой конкретно-исторической важности; из эмпирического материала подчас не следовало необходимых выводов.

Вызов, брошенный Ариесом и Шоню, был принят историками-марксистами. Так, монография Мишеля Вовеля “Смерть и Запад с 1300 г. до наших дней”⁷³ также в значительной степени основана на материале нотариальных актов. Парадоксальным образом Вовель проявляет гораздо большую гибкость, чем Ариес и, в какой-то степени, Шоню, предупреждая против “утверждений, устанавливающих механическую зависимость ментальностей от материальной жизни общества”⁷⁴ и настаивая на более сложном и противоречивом характере взаимосвязи этих явлений. Столь же чуждым всякому редукционизму было исследование другого историка-марксиста, Алана Круа: “Бретань в XVI–XVII вв.: Жизнь, смерть, вера”⁷⁵. Эти “коронные” для историко-антропологического направления сюжеты рассматривались автором на материалах нотариальных актов (которых, впрочем, для Бретани сохранилось не так много, как для Парижа), приходских книг, источников личного происхождения. Актуальная для подобного рода исследований проблема репрезентативности была решена Аланом Круа весьма радикально: год за годом настойчивый исследователь объезжал на велосипеде все приходские церкви Бретани, не говоря уж о департаментских и муниципальных архивах. В результате ему удалось учесть *все* имеющиеся источники в масштабах всей провинции.

Подобных работ появлялось немало для разных провинций и разных периодов. Это было повторением “славного десятилетия” локальных монографий, но уже с учетом влияния антропологически-ориентированной истории. Промежуточные итоги этого периода стали известны отечественному читателю благодаря книге Ю. Л. Бессмертного “Жизнь и смерть в средние века”⁷⁶.

⁷³ *Vovelle M.* La Mort et l'Occident: de 1300 a nos jours. Paris, 1983.

⁷⁴ *Ibid.* P. 24.

⁷⁵ *Croix A.* La Bretagne aux 16^e et 17^e siècles: La vie, la mort, la foi. Paris, 1980.

⁷⁶ *Бессмертный Ю. Л.* Жизнь и смерть в средние века. М., 1990.

Нотариальный акт, таким образом, вполне благополучно пережил “смену парадигм”, сохраняя ранг “привилегированного источника”. В 80-ые годы, множатся работы, посвященные методике работ с нотариальными актами. Под руководством Жана Лаффона собираются регулярные colloquiums на эту тему⁷⁷. Проблематика работы с нотариальными актами волнует и наших соотечественников (Г. М. Тушину⁷⁸ и Е. Н. Радзиховскую⁷⁹, изучающих Прованс, С. П. Карпова и его учеников, концентрирующих внимание на материале итальянских колоний Черноморья⁸⁰). Особую ценность представляют работы Жана-Поля Пуассона⁸¹. Получив историческое образование, он не смог продолжить свою профессиональную карьеру и вынужден был устроиться на службу в нотариальную контору. Долгие годы работы в качестве практикующего нотариуса в Париже поставили его в уникальную для наблюдения позицию: понимая тонкости своего ремесла “изнутри”, он сумел показать историческому сообществу неисчерпаемые возможности нотариальных источников. Среди его этюдов — работы по экономической и социальной истории, по истории права, социальной

⁷⁷ Les actes notariés, source de l'histoire sociale (XV^e–XIX^e siècles): Actes du colloque de Strasbourg / Ed. J. L. Laffont. Strasbourg, 1979; Problèmes et méthodes d'analyse historique de l'activité notariale: XV^e–XIX^e siècles: Actes du colloque de Toulouse / Ed. J. L. Laffont. Toulouse, 1991; Histoire sociale et actes notariés: Problèmes de méthodologie (Actes de la table ronde du 20 mai à Toulouse). Toulouse, 1989.

⁷⁸ Тушина Г. М. Города в феодальном обществе Южной Франции. М., 1985.

⁷⁹ Radzihovska O. A propos du сойт du travail à Aix-en-Provence au XV^e siècle: Apprentissage et salariat à travers les actes notariés // 120^e Congrès national des soc. Hist. Aix-en-Provence, 1995. P. 21–30.

⁸⁰ Прокофьева Н. Д. Акты венецианского нотариуса в Тане Донато а-Мано (1413–1419) // Причерноморье в Средние века / Отв. ред. С. П. Карпов. М., 2000. Вып. 4.; Талызина А. А. Венецианский нотариус в Тане: Кристофоро Риццо (1411–1412) // Там же. С. 19–35.

⁸¹ Poisson J. P. Notaires et sociétés: Travaux d'histoire et de sociologie notariales. Paris, 1985–1989. 2 vol.

психологии и даже “смеховой культуры”, данные сквозь призму нотариальных актов.

Чтобы показать, как реально осуществлялось “скольжение” от социально-структурной истории к истории социально-культурной, мы возьмем в качестве примера работу уже упоминавшегося Роже Шартье. Сейчас Шартье является одним из лидеров французской исторической мысли; он достаточно широко известен в нашей стране работами по истории чтения и книжности в период Старого порядка. Менее известны работы этого исследователя по истории образования во Франции. В 1981 г. в “Анналах” им была опубликована статья “Социальное пространство и социальное воображаемое: разочарованные интеллектуалы в XVII в.”⁸². Обобщая работы, оперирующие большим цифровым материалом, автор показывает, как университетское образование в Англии, Франции, Голландии, Германии и Испании проходит, начиная с XVI в., через одинаковые фазы. Сначала рост числа вакантных мест повышает привлекательность университетского образования, затем наступает диспропорция между все возрастающим числом университетских выпускников и ограниченной емкостью “рынка” церковных и светских должностей. Постепенно в обществе разрастается слой “разочарованных интеллектуалов”, представляющих угрозу для социальной стабильности. Затем, по мере осознания обществом этой проблемы, усиливается социальный отбор и сокращается число университетских выпускников. То, что “разочарованные интеллектуалы” представляли собой взрывоопасную “субстанцию”, давно не было секретом для историков. Об этом, в частности, писал еще Ролан Мунье. Связь этой проблемы с социальными конфликтами, предшествующими Английской революции, подчеркивал в своих нашумевших работах и такой “зубр” социальной истории как Лоренс Стоун. Новаторство Шартье состояло в том, что он показал многообразие форм осознания обществом остроты этой проблемы: от создания альтернативных образовательных систем в эпоху Кольбера до испанского плутовского романа, главным героем которого является, по большей части, бывший студент. Но Шартье, основываясь на количественных исследованиях голландского историка Вилельма Фрийхоффа,

⁸² *Chartier R. Espace social et imaginaire social: Les intellectuels frustrés au XVII^e siècle// Annales. E. S. C. 1981. N 2. P. 389–399.*

отмечает отсутствие прямой связи между степенью озабоченности общества проблемой “лишних интеллектуалов” и реальной университетской статистикой. Тезис о колоссальном “перепроизводстве” адвокатов (уже полностью не соответствующий действительности) продолжал муссироваться в литературе и публицистике в XVIII и даже в первой половине XIX в., служа аристократизации университетов утративших свою былую функцию фактора социальной мобильности. Эта концепция Роже Шартье, отнюдь не бесспорная (примечательно, кстати, что сам автор, перепечатав эту статью в нескольких местах, заметно охладел к своему детищу), в данном случае привлекает тем, что на ее примере видна постепенная смена исследовательских приоритетов. Шартье опирается на наработки социально-структурной истории, по-прежнему, мыслит в категориях “сериальной” истории и не лишен заинтересованности в социологической интерпретации общественных коллизий. Но при этом социальные явления и их культурное осмысление характеризуются принципиально разными ритмами, причем второе наделяется способностью формировать первые. Это был один из начальных шагов. В дальнейшем Шартье придет к тезису о необходимости перехода от социальной истории культуры к культурной истории социального⁸³.

В эти годы на французских историков все большее влияние стали оказывать импульсы извне, прежде всего — и на примере Шартье это видно в наибольшей степени — социологические теории Пьера Бурдьё, в частности, его учение об экономическом капитале и символическом капитале и о “хабитусе”, как о переплетении сознательных и неосознанных, но подразумевающихся практик поведения.

Но, пожалуй, более сильным и менее предсказуемым по своим последствиям было влияние Мишеля Фуко. Отношения Фуко с историками были достаточно противоречивыми; но все свои построения он основывал на историческом материале, преимущественно на материале периода Старого порядка. И постепенно даже не признававшие ценности его выводов историки свыкались с идеями, введенными в оборот этим неординарным философом. Это влияние выразалось в

⁸³ *Chartier R.* Les origines culturelle de la rйvolution franzaise. Paris, 1990; *Idem.* Au bord de la falaise: L’histoire entre certitude et inquiйtude. Paris, 1998.

усвоении идей деконструктивизма: важнейшие и, казалось бы, незыблемые дефиниции (например, оппозиции между психическим здоровьем и безумием, между легальным и преступным, между нормой и сексуальным отклонением) не присущи всем обществам изначально, но появляются в определенное время и в определенном месте и, появившись, видоизменяют общество. Фуко поставил под вопрос привычное соотношение между “словами и вещами”, заговорил о растворенном в обществе насилии, выражающемся в языковых практиках. С его легкой руки слова “эпистема”, “дискурс” получили прописку в трудах историков. Для историков старшего поколения, вошедших в науку в 50-ые начале 60-х годов (от адептов “социальной истории”, сторонников “ вторых Анналов” , более или менее последовательных марксистов до твердокаменных “шартистов”, убежденных в незыблемости понятия “исторический источник”) Фуко остается экзотической и не слишком авторитетной фигурой, очередным модным философом. Для кого-то же он – любопытный союзник, творец плодотворного, но не всегда приемлемого метода “интерпретирующей аналитики”, для кого-то отец-основатель “фукианской парадигмы” (последних достаточно много в США и в России⁸⁴).

Как бы то ни было, силу воздействия Фуко на последующие поколения историков трудно переоценить. Ему удалось показать, что при наличии способностей к выстраиванию (или даже к “плетению”) всевозможных связей между “словами” и “вещами”, помноженных на эрудицию и богатое воображение, интерпретировать данные источников можно самыми разными способами, а вовсе не столь линейно- рационально, как это виделось социальным историкам 60-х. г. Но, позволю себе ремарку, за которую рискую подвергнуться яростной атаке со стороны хранителей “фукианской ортодоксии”: вдохновение для своих лучших сочинений Фуко черпал непосредственно из архивных материалов XVII–XVIII вв., в особенности, конечно, из криминальных архивов (в частности, архивов Бастилии, часть из которых так вдохновила некогда А. Д. Люблинскую). Менее всего Фуко похож на архивиста-палеографа, да и вообще – на профессионального историка. Но без погружения в источники Фуко не создал бы ни “Истории безумия”, ни других

⁸⁴ См., например, сборник: Мишель Фуко и Россия. / сб.статей под. Ред. О.Хархордина. СПб; М., 2001.

свои полотна (впрочем, весьма уязвимых с точки зрения историков-профессионалов). Более того, работать с источниками он любил, обладая особым вкусом к историческому документу. Не случайно коллега и соратник Фуко, Арлет Фарж, представляет теперь особое направление во французской историографии, воспевая поэтику архивных изысканий⁸⁵.

Прямое или косвенное влияние Мишеля Фуко, а также неослабевающий интерес к психоанализу, введение в оборот многомерного понятия “тела” и “телесности” приводили в восьмидесятые годы к целому ряду неожиданных гипотез, заново интерпретирующих историю того или иного социального института. Сюда можно отнести работы Жана Шифолло⁸⁶ о правосудии и Пьера Билакуа о дуэлях во французском обществе⁸⁷.

Очередным источником вдохновения для французских историков 70-х–80-х гг. явились достижения их американских коллег. Прежде всего, конечно же, речь идет о трудах Н. Земон Девис, продолжающей плодотворно работать на ниве антропологически ориентированной истории. Немалую роль сыграли и труды Роберта Дарнтона, сумевшего интегрировать в классическую область изучения французской революции и просвещения исследование народных суеверий, импульсивных действий толпы, функционирование лингвистических механизмов. Его работа о массовом истреблении кошек в Париже в период правления

⁸⁵ См.: *Farge A. Le Goût des archives*. Paris, 1989; *Eadem. Des lieux pour l'histoire*. Paris, 1997; *Le désordre des familles: Lettres de cachet des archives de la Bastille au XVIII^e siècle* / Ed. A. Farge et M. Foucault. Paris, 1982. Хочется в этой связи посоветовать на молодых отечественных коллег, предпочитающих заниматься Мишелем Фуко или иными французскими “властителями дум”, игнорируя имеющиеся и столь ценимые этими “властителями дум” архивные материалы, хранящиеся в своей же стране.

⁸⁶ *Chiffolleaux J. La comptabilité de l'au-delà: Les hommes, la mort et la religion dans le rayon d'Avignon à la fin du Moyen Âge, vers 1320–1489*. Rome, 1980.

⁸⁷ *Bilacois F. Le duel dans la société française des XVI^e–XVII^e siècles: Essai de psychologie historique*. Paris, 1986.

Людовика XV произвела фурор в рядах французских специалистов по XVIII в.⁸⁸ Одним из наиболее последовательных сторонников изучения ментальностей и применения историко-антропологических методов для исследования французского общества Старого порядка, является Робер Мушанбле, автор многих работ, посвященных охоте на ведьм⁸⁹, культурному портрету французского сельского общества⁹⁰, издателю научного журнала с красноречивым названием “Ментальности”. В конце 80-х–90-х гг. этот историк становится убежденным сторонником применения концепции Норберта Элиаса к истории Франции. С этих пор его внимание сконцентрировано на процессе формирования так называемой “цивилизации нравов”, выражавшейся в расширении контроля над аффектами, что и определило в конечном итоге сущность европейской цивилизации⁹¹.

Вторым каналом воздействия американской историографии явились труды так называемой “церемониалистской” школы. Восходя к авторитету Эрнста Канторовича, эта школа ставила в центр своего внимания всевозможные процессии, ритуалы и церемонии, связанные с королевской особой: похороны короля, коронации, торжественные въезды монарха в город, ложа правосудия (обряды появления короля в Парламенте)⁹². Эта школа склонна была видеть в изучаемых церемониях отражение своеобразной “конституционной идеологии”, а в

⁸⁸ *Darnton R.* The Great cat massacre and other episodes in French cultural history. N. Y., 1984.

⁸⁹ *Muchembled R.* La sorcière au village: XV^e–XVIII^e siècles. Paris, 1979; *Idem.* Le roi et la sorcière: l’Europe des bychers, XV^e–XVIII^e siècles. Paris, 1993.

⁹⁰ *Muchembled R.* La violence au village: Sociabilité et comportements populaires en Artois du XV^e au XVII^e siècles. Paris, 1989.

⁹¹ *Muchembled R.* L’invention de l’homme moderne: Sensibilités, mœurs et comportements collectifs sous l’Ancien régime. Paris, 1988; *Idem.* La société pollicie: Politique et politesse en France au XVI^e au XX^e siècles. Paris, 1988.

⁹² *Kantorowicz E. H.* The King’s two bodies: A study in medieval political theology. Princeton, 1970²; *Gisy R.* The royal funeral ceremony in renaissance France. Genève, 1960; *Haneley S.* The “Lit de justice” of the kings of France: Constitutional ideology in legend, ritual and discourse. Princeton, 1980.

процессиях ее представители надеялись найти отражение реальной социально-политической структуры.

И хотя американский вызов стимулировал аналогичные исследования со стороны французских коллег, плотность изученности этого периода сейчас такова, что выдвигаемые концепции, в той или иной степени претендующие на генерализацию, сразу же подвергаются существенной критике, основанной не столько на концептуальных соображениях⁹³, сколько на более внимательном прочтении источника. Так, красивая интерпретация “охоты на ведьм”, предложенная Робером Мушанбле, была буквально взорвана критикой со стороны Альфреда Зомана⁹⁴, пожалуй, лучшего специалиста в области судопроизводства во Франции. А концепция Лоуренса Брайана подверглась аргументированной критике со стороны такого знатока истории Парижа как Робер Десимон, показавшего, что многие реалии ритуала торжественного въезда короля были неправильно атрибутированы его американским коллегой, от чего, следовательно, вся динамика изменений, приписываемых Брайаном французскому городу, имела, судя по всему, иной вектор⁹⁵.

Стройная концепция “ложи правосудия” как инструмента абсолютистской идеологии, выраженная в трудах Сары Ханли, была развенчана в работах Елизабет Браун⁹⁶. Выяснилось, в частности, что Сара Ханли основывалась не на оригинальных, чрезвычайно объемных источниках эпохи Старого порядка, а на

⁹³ *Boureau A.* Le Simple corps du roi: L'impossible sacralité des souverains français. XV–XVIII s. Paris, 1988.

⁹⁴ *Soman A.* Sorcellerie et justice criminelle: Le Parlement de Paris, 16^e–18^e siècles. Hampshire; Brookfield, 1992.

⁹⁵ *Bryant L. M.* The King and City in Parisian Royal Entry Ceremony. Genève, 1986.; *Descimon R.* Les fonctions de la métaphore du mariage politique du roi et de la République. France, XVe–XVIIIe siècles. *Annales ESC* 47, N 6, 1992 p.1127-1147.

⁹⁶ *Hanley S.* The “Lit de Justice” of the King of France: Constitutional Ideology in Legend, Ritual and Discourse. Princeton, 1983 (французский перевод — 1991); *Brown E., Famiglietti R.* The Lit de Justice: Semantics, ceremonial and the parlement of Paris, 1300-1600. Sigmaringen, 1994.

итогах обработки этих источников учеными более позднего периода, в особенности, работавшими в XVIII в., в то время как Элизабет Браун предприняла героические усилия по выявлению огромного комплекса указанных архивных документов, то есть сотен неподъемных томов Регистров Парламента. О ней хочется сказать особо. Обладая редким даром критического мышления (еще в 70-е гг. она высказывала взгляды деконструктивистского толка о французском феодализме, подхваченные историками 90-х гг.⁹⁷), эта исследовательница совмещает его с фанатичной приверженностью работе в архивах. За измену этому призванию историка она критиковала как французских коллег, отдавших предпочтение разговорам о ментальностях, дискурсах и спорам о методе, так и историков российских, игнорирующих богатство отечественных архивов⁹⁸. В отношении наших коллег Элизабет Браун имела полное основание для этих упреков: сама она немалое время посвятила архивным изысканиям в экстремальных условиях пост-перестроечного Санкт-Петербурга.

Но наиболее важным центром притяжения внимания французской историографии за последние двадцать лет стала сфера политической истории. Именно сюда “эмигрировали” историки, дебютировавшие на ниве социально-структурной истории. Пьер Губер, прославившийся как историк “ста тысяч провинциалов” (так называлось второе издание его работы о Бове и Бовези), в 1990 г. публикует биографию Мазарини⁹⁹, прославляя ловкого кардинала, а в его предисловии к изданию “Мемуаров” Людовика XIV, звучат апологетические мотивы в оценке “Короля-Солнце”. А ведь в “Бове и Бовези” правление Людовика XIV в какой-то мере приравнивалось к стихийному бедствию, обрушившемуся на головы крестьян.

⁹⁷ *Brown E.* The Tyranny of a Construct: Feudalism and historians of Medieval Europe // *American Historical Review*. 1975. P. 1063–1085; *Reynolds S.* Fiefs and Vassals: The medieval Evidence Reinterpreted. Oxford, 1994.

⁹⁸ Об этом, в частности, Элизабет Браун говорила со мной при личной встрече еще в 1993 и 1996 гг.

⁹⁹ *Goubert P.* Mazarin. Paris, 1990. (русс. пер. – М., 2000).

Франсуа Блюш, в 50-е–60-е гг. один из апостолов социальной истории, завершает свою карьеру увесистым панегириком все тому же “Королю-Солнце”¹⁰⁰. Многократно упоминаемый на этих страницах Ле Руа Ладюри занимается теперь не крестьянами Лангедока и не пастухами из Монтайю, а функционированием Версальского двора¹⁰¹. Жан Жакар, несравненный историк-аграрник, пишет биографии Франциска I и Байарда¹⁰², Марк Венар тоже дебютировавший изучением отношений буржуа и крестьян на юге Парижского бассейна, сосредоточил свои усилия на изучении католической реформы. И если 60-е–70-е гг. прошли под знаком подготовки к изданию коллективных трудов (таких как “История сельской Франции” и “Экономическая и социальная история Франции”), то подобным символом для эпохи 90-х гг. становится монументальный труд “Генезис новоевропейского государства”¹⁰³.

Однако в этом не следует видеть возврата к той самой политической истории, с которой когда-то вели бескомпромиссную борьбу представители школы “Анналов”. Конечно, традиционная история великих личностей, история-событие, история-рассказ остались, никуда они не делись¹⁰⁴. Но в лучших своих проявлениях историография второй половины 80-х–90-х гг. представляла собой нечто совсем иное. Выяснилось, что политическая история прекрасно уживается с

¹⁰⁰ *Bluche F. Louis XIV. Paris, 1986* (в русском переводе: *Блюш Ф. Людовик XIV. М., 1998*).

¹⁰¹ *Le Roy Ladurie E. Saint-Simon ou le Systime de la cour. Paris, 1997.*

¹⁰² *Jacquart J. Francois I. Paris, 1981; Idem. Bayard. Paris, 1986.*

¹⁰³ *Introduction a l'Йtat moderne: Genise, bilan et perspective. Paris, 1990.*

¹⁰⁴ Иллюстрацией успешного выживания в наши дни традиционных форм историописания могут служить работы Ф. Эрланже и Ж. П. Баблона, авторов биографических серий, написанных в самой что ни на есть традиционной описательной манере, с вкраплениями собственных морализирующих сентенций. Их труды во уже много лет переиздаются массовыми тиражами и даже переводятся в нашей стране. См., например: *Баблон Ж. П. Генрих IV. Ростов-на-Дону, 1999; Эрланже Ф. Генрих III. Ростов-на-Дону, 1995* (второй перевод — СПб., 2002); *Он же. Диана де Пуатье. СПб., 2001.*

антропологическим подходом, и что с позиций исторической антропологии может быть написана биография короля¹⁰⁵. Кроме того, солидные историки, вошедшие в науку под знаком социальной истории, занимаясь политической историей или выступая в жанре биографического исследования, предваряют их картинами социальной жизни, описанием всего общества¹⁰⁶. Подобное явление, помимо уже упомянутого Жана Жака, можно проиллюстрировать примером Роберта Кнехта, являющегося на сегодняшний день, пожалуй, лучшим знатоком реалий XVI века; в отечественной историографии это же можно сказать и о В.Н. Малове применительно к XVII в. Добротная политическая история демонстрировала и демонстрирует явную тенденцию к интеграции с историей социальной или социально-культурной.

Будущее видится в развитии именно этого, весьма плодотворного, синтеза. Благодаря наследию Мишеля Фуко и историко-антропологическому вызову, стало очевидно, что исследование механизмов власти неотделимо от исследования “воображаемого”. Не случайно термин “*imaginaire*” часто стал встречаться в подзаголовках монографий. Изучение форм диалога власти и народа ныне занимает историков, пожалуй, больше, чем описание институтов административной монархии. Никого не удивляет теперь, что работы, относящиеся к насилию, девиантному поведению и формам социального контроля проходят по ведомству политической истории. Французские историки, похоже, осознали, что абсолютистское государство, окрепшее после кризиса Религиозных войн, породило новую систему социального устройства. Этому посвящена, в частности, работа Оливье Кристин¹⁰⁷.

¹⁰⁵ Характерным примером может служить книга Жака Ле Гоффа — *Le Goff J.* Saint Louis. Paris, 1996 (в русском переводе: *Ле Гофф Ж.* Людовик IX Святой. М., 2001).

¹⁰⁶ См., например: *Knecht R. J.* Renaissance Warrior and Patron: The reign of Francis I. Cambridge, 1994;

Малов В. Н. Ж.-Б. Кольбер: Абсолютистская бюрократия и Французское общество. М., 1991.

¹⁰⁷ *Cristin O.* La Paix de religion: L'autonomisation de la raison politique au XVI^e siècle. Paris, 1997.

К числу “вызовов”, брошенных французской историографии, принадлежит еще и вызов микроистории. Микроистория как более или менее отрефлексированное направление пришло во Францию через группу историков, сконцентрированных вокруг “*Куадерни сторици*” — журнала, обычно уподобляемого по своему значению английскому “*Past and Present*” и французским “*Анналам*”.

И хотя направления мысли, аналогичные манифестам итальянских ученых, набирали силу и в Германии¹⁰⁸, и в Англии¹⁰⁹, французские историки ассоциируют микроисторию в первую очередь с итальянской школой. Поэтому на ней следует остановиться подробнее. Изначальный пафос “отцов-основателей” микроистории был сродни интенциям сторонников “новой исторической науки” во Франции и направлен, главным образом, против традиционной событийной, политической истории, а также против социально-структурной истории, увлекавшейся количественным анализом. Они ратовали за изучение внутреннего мира человека, за исследование самых разнообразных аспектов социального опыта и критиковали предшествующую историографическую традицию за схематизм, погоню за “объективными” процессами и структурами, и как следствие, за высокомерно-пренебрежительное отношение к действующим субъектам истории.

Но при ближайшем рассмотрении выясняется, что сторонников микроистории не устраивают и модели, базирующиеся на культурно-антропологических методах. Ведь в увлечении ментальностями можно усмотреть характерное для культурной антропологии отрицание автономии социальных актеров. Если человек, следуя метафоре Клиффорда Гирца, постоянно блуждает “в лесу символов”, то задача исследователя — расшифровать эту систему знаков, которая, как говорил Роберт Дарнтон, “разделяется всеми подобно воздуху, которым мы дышим”. Эта установка

¹⁰⁸ Медик Х. Микроистория // THESIS. 1994. Вып. 4. С. 192–197.

¹⁰⁹ Ретина Л. П. “Персональная история”: Биография как средство исторического познания // Казус, 1999. М., 1999. С. 76–100; Она же. Комбинация микро- и макроподходов в современной британской и американской историографии: Несколько казусов и опыт их прочтения // Историк в поиске: Микро- и макроподходы к изучению прошлого. Доклады и выступления на конференции 5-6 октября 1998. М., 1999. С. 31–64.

антропологически ориентированной истории служит мишенью для тех, кто настаивал на том, что человек обладал свободой выбора той или иной интерпретации, что между интерпретациями возникали конфликты. Выбирая тот или иной способ действия, тот или иной вариант “расшифровывания мира”, человек творил историю, которую и следует понимать как совокупность индивидуальных выборов, как сеть отношений, образующих ту базу, без которой немыслимы ни макроскопические процессы, ни их генерализирующие интерпретации исследователями. Этот вызов микроистории был воспринят, мягко говоря, неоднозначно (подробности полемики между мироисторией и антропологически ориентированной историей на российской почве можно проследить по материалам сборника “Историк в поиске” (М., 1999) и на страницах изданий “Казус” и “Одиссей”). Так, ставится под сомнение способность микроистории предложить новую парадигму: ведь генерализировать на основе микроистории чрезвычайно трудно, если не невозможно, а обходиться без генерализации мышление историков, как и всякое научное мышление, не в состоянии. Разговор на эту тему обычно ходит по кругу утверждений “второй свежести”, как-то: микроистория есть описание микрообъектов, микроистория не может обойтись без макроистории и наоборот и т. д.

С микроисторией произошли характерные метаморфозы; ее “отцы-основатели”, действуя во многом интуитивно, старались уйти от бесплодных академических споров, от абстрактных рассуждений о методе, желая предложить новую версию истории, сделать ее более человеческой, эмпирически насыщенной, интересной для чтения. Постепенно к ним пришло признание, они “обросли” учениками, эпигонами, кафедрами, их самих стали изучать, они стали вести академические споры, стали вести рассуждения о методе. В этом возвращении “на круги своя” трудно не увидеть действия объективных механизмов функционирования исторического сообщества. Тот же самый альманах “Казус”, который рассматривает себя в том числе и в качестве версии микроисторического направления на отечественной почве, в кратчайший срок, всего за три выпуска, прошел путь от сборника микроисторических этюдов к сборнику, большая часть которого посвящена рассуждениям о судьбах микроистории и о возможных методах исследования..

На мой взгляд, если микроистория как объект историографического изучения и отличается чем-нибудь от других направлений, то только тем, что разговор об этих трудах может быть только конкретным. В противном случае он сведется все к тому же “порочному кругу” банальных утверждений. Поэтому, чтобы оценить масштабы микроисторического вызова, хорошо было бы остановиться на некоторых примерах. Достаточно характерны в этой связи работы Симоны Черрути о ремесленниках Турина¹¹⁰. Автор отказывается от традиционного рассмотрения ремесленной среды в категориях принадлежности к тому или иному цеху, несмотря на то, что в Турине цеховая система представлялась весьма развитой. Ее рабочая гипотеза состоит в том, что тезис об имманентности цеховой структуры следует вынести за скобки как функционалистский. В центре внимания оказываются индивидуальные и семейные (что не одно и то же) стратегии социального поведения. Выясняется, что профессиональные и социальные идентичности не дарованы “ad hoc”, но каждый раз являются результатом взаимодействия различных причин: индивидуального выбора, семейных традиций и амбиций, поддержки и противодействия окружающей социальной среды, поступков людей. При этом объективные структуры не игнорируются автором, они определяют границы возможного в действиях человека, присутствуют в исследовании в виде потенций. Источниковую базу Симоны Черрути составляют при этом, что особенно отрадно, нотариальные акты.

Значение методологического вызова подобных работ не стоит недооценивать — ведь их авторы стараются уйти от функционалистского объяснения, при котором все поступки людей квалифицировались исходя из представлений о социальной иерархии. Так, например, стратегии социального возвышения отдельных, особо преуспевавших семей (см. характерные заголовки трудов: “Кольберы до Кольбера”, “Сегье до Сегье”), изучались и ранее, причем изучались очень хорошо.

¹¹⁰ Этот выбор продиктован тем, что при нашей ориентации в первую очередь на французский материал для нас может быть важным то, что Симона Черрути является сотрудником Высшей школы социальных исследований в Париже. *Cerruti S. La ville et les métiers: Naissance d'un langage corporatif* (Turin, XVII^e–XVIII^e siècle). Paris, 1990.

В данном же случае речь идет о том, чтобы учесть многообразие индивидуального. Но все-таки — не индивидуального самого по себе (в чем обычно упрекают микроисторию), а “частного индивидуального”, необходимого для реконструкции пространства существовавших возможностей¹¹¹. Таков, примерно, смысл работы Джованни Леви “Нематериальное наследство”, посвященной исследованию биографии жителей одной из пьемонтских деревень за 50 лет, Маурицио Грибауди — о формировании рабочего класса в Турине или Анджело Делла Торре — об эволюции местной судебной системы все в том же Пьемонте¹¹².

Вопреки распространенному убеждению, писать микроисторическое исследование намного сложнее, чем всякое иное, поскольку предполагает доскональное знание контекста реалий в сочетании со способностью на основании “улик” увидеть общее. Речь не обязательно должна идти об исследовании какого-либо мелкого объекта: одной деревни, одной семьи или одного судебного процесса; город, церковь, государство также вполне могут быть объектами микроисторического исследования. Но это уже будет другой ракурс, это будет история “снизу” (не случайно многие немецкие историки предпочитают термин “Geschichte von unten”), когда в историческом исследовании описывается не столько единый вектор эволюции социальных систем, но нагромождение различных, зачастую конкурирующих между собой институтов, каждый из которых наделен собственной логикой. Между этими институтами приходится лавировать людям, преследующим свою собственные цели и оценивающим ситуацию в своих собственных категориях. По словам Жака Ревеля, в этих работах присутствуют “великие перемены века”, но “лишь сквозь пыль ничтожных

¹¹¹ Отсюда новое звучание обретает вопрос о сослагательности в истории (См.: История в сослагательном наклонении // Одиссей, 2000. М., 2000.).

¹¹² *Levi G.* L'eredità immateriale: Carriera di un esorcista nel Piemonte del Seicento. Torino, 1985; *GriAUDi M.* Mondo operaio e mito operaio: Spazi e percorsi sociale a Torino nel primo novecento. Torino, 1987; *Torre A.* Il consumo di devozioni: Religione e comunità nelle campagne dell'Ancien regime. Venezia, 1995.

событий. Но именно в этих ничтожных событиях обнаруживаются и совершенно другие очертания»¹¹³.

Микроистория никоим образом не отрицает включенности человека в исторический контекст. Но дело в том, что она видит, что этих контекстов много. Поэтому каждый индивидуальный случай может по-разному прочитываться в зависимости от ракурса исследования¹¹⁴.

Но, конечно, требование “плотного описания” предполагает некое ограничение масштаба исследования. В связи с этим очевидной становится “ахиллесова пята” микроисторического метода — проблема репрезентативности. Сторонники микроистории научились выходить из положения тем или иным способом. Для этого, например, могут использовать термин Эудженио Гренди “исключительное нормальное”. Не столь важно, в какой степени та или иная модель подтверждена статистически (статистика, по большей части, будет неполной в силу фрагментарности данных), а как она ведет себя в экстремальных условиях, когда один из параметров подвергается деформации. Так, например, случай с мельником Меноккио из книги Карло Гинзбурга “Сыр и черви” абсолютно нетипичен, но он дает нам очень богатую информацию о различных пластах культуры, о “возможном и невозможном”, об особенностях судопроизводства и т. д. Таков метод, заявленный инициаторами отечественного издания “Казус”, его так и называют “казуальным” методом.

Кстати говоря, все споры между исторической антропологией и микроисторией достаточно условны и, возможно, являются историографической химерой. Разве не

¹¹³ Ревель Ж. Микроисторический анализ и конструирование социального // Одиссей, 1996. М., 1996. С. 120.

¹¹⁴ Доступным примером подобного прочтения могут быть два разных истолкования одного и того же уголовного процесса Парижского Шатле в работах Клод Говар и Ольги Тогоевой (см. Говар К. Прослывшие ведьмами: четыре женщины, осужденные прево Парижа в 1390-1391 годы; Тогоева О. И. Брошенная любовница, старая сводня, секретарь суда и его уголовный регистр (Интерпретация текста или интерпретация интерпретации); Тогоева О.И. О казусах и судебных прецедентах (Вместо заключения)// Казус, 2000. М., 2000. С. 221-271.

могут служить образцами микроисторических исследований труды, которые обычно ассоциируются с историко-антропологическими изысканиями, такие как “Возвращение Мартена Герра” Н. Земон Девис, “Монтайю, окситанская деревня” Э. Ле Руа Ладюри или “Аженская коммуна” В. И. Райцеса?

Как отмечалось выше, французская историография относится к микроистории с интересом, выдающим некоторую остроту. Однако если не в результате прямого влияния итальянской (а также английской и немецкой) микроисторической традиции на французскую историческую мысль, то в результате ее структурного соответствия исканиям французских социологов, происходит приближение основных исследовательских принципов французской историографии к вызовам микроистории.

В отличие от отечественной ситуации, французские социологи склонны порой к диалогу с историками, которые, в свою очередь, подводя теоретическую базу под свои построения, прибегают не только к авторитетам прошлого (во Франции таким непререкаемым авторитетом является Эмиль Дюркгейм), но и знакомятся с работами своих современников. Мы уже говорили о “связке” Пьер Бурдьё—Роже Шартье. С середины 80-х гг. все более цитируемым социологом становился Люк Болтански, к которому позже добавился его соавтор Лоран Тевено¹¹⁵. Характерно, что оба этих социолога являются постоянными участниками общественного семинара по истории социальных иерархий, работающего в Высшей школе социальных исследований вот уже десять лет. Эти социологи много работали над системой социальных классификаций и их интересуют те принципы, по которым люди относят друг друга или себя самих к определенным категориям в обществе или создают новые социальные группы. С их точки зрения, такие социальные группы сугубо ситуационны и напрямую зависят как от лингвистического опыта самого человека, так и от опыта людей, выражающих свое мнение о нем. Оказываясь в определенной ситуации, человек производит мобилизацию лингвистических и логических возможностей для оправдания своей позиции.

¹¹⁵ Boltanski L. *L'Amour et la justice comme compétences: Trois essais de sociologie de l'action*. Paris, 1990; Boltanski L., Thevenot L. *Les économies de la grandeur*. Paris, 1987; Boltanski L. *L'esprit du capitalisme*. Paris, 1999.

Именно это, по их мнению, и является определяющим фактором для социальной структуры современного общества, хотя, конечно, слово “структура” не вполне подходит для того, чтобы передать впечатление об этой текучей, постоянно меняющейся “материи социального”. Позже они разработали определенную классификацию таких не зависящих друг от друга моделей оправдания (“шесть моделей справедливости”), для того чтобы показать самодостаточность каждой из них, эти социологи применяют термин “cītyś” (города-государства, грады). Такая социология “градов” разработана на эмпирическом материале современности, с привлечением результатов экспериментов, но они с большим вниманием относятся и к опыту иных эпох. Трудно не обратить внимание на некоторое родство этих подходов с подходами микроистории. В обоих случаях во главу угла ставятся не априорно существующие социальные группы, но индивидуальный опыт действующих лиц; социальная реальность формируется и постоянно поддерживается “здесь-и-сейчас”. Кстати, в социологии достаточно популярен теперь и так называемый биографический метод, уже напрямую связанный с микроисторией¹¹⁶.

При этом не хотелось бы настаивать на прямом влиянии этих двух явлений друг на друга — скорее речь идет об изменении некоторых условий функционирования гуманитарного знания. Возможно, современное постиндустриальное общество вступило в некую новую фазу, которую условно можно назвать “постмодерном”. Но чтобы не вдаваться в дискуссии по этому поводу, мы можем указать на другие, более специальные факторы. Это, прежде всего, приоритет, отдаваемый этнологами и социологами конструктивизму по сравнению с примордиальностью. Это значит, что все большее число социальных институтов объявляется не “врожденными”, существующими если не от века, то очень давно, а “приобретенными”, сконструированными, договорными (сюда относится не только социальная идентичность, но и такие категории как этнос, семья и даже пол). Оговоримся при этом, что речь идет лишь о тенденции гуманитарного знания, об акцентах и ракурсах. Насколько они справедливы — это другой вопрос.

¹¹⁶ См. Биографический метод в социологии: История, методология и практика. М., 1994

Еще одним, очень важным фактором и очередным вызовом является лингвистический поворот (и связанный с ним деконструктивизм). К этому явлению историки относятся по-разному, от восторгов до бескомпромиссного неприятия, однако теперь уже для всех стала очевидной активнейшая роль языка, не только отражающего, но и формирующего социальное пространство. Появился даже устойчивый термин “перформативность дискурса” и условность (но не нейтральность) социальных дефиниций.

В. В поисках “новой парадигмы” (90-ые гг.)

От “истории в осколках” к “возвращению субъекта”. — Примеры обновления: история дворянства. — “Культурная история”. — “История жизненных стилей”. — Контуры рождающегося направления. — Идеал и реальность. — “Искать решение проблем или указывать на трудности их решения?” — Угроза “депопуляции”. — Консерватизм сообщества историков как повод для сдержанного оптимизма.

В 80-е гг. в сознании историков постепенно утверждалось ощущение кризиса, лучше всего сформулированное к книге Франсуа Досса с характерным названием “История в осколках”¹¹⁷. История, лишь недавно сформулировавшая желание быть “тотальной историей”, ускорила свое раздробление на отдельные субдисциплины, а те, в свою очередь, быстро распадалась на отдельные сюжеты, причем разговоры о единой методологической основе становились беспредметными. Были, конечно, историки, которые не соглашались с такими утверждениями, но они выглядели, скорее, консерваторами, видевшими лучшие образцы историографии минувшей эпохи. В 90-х гг., ситуация, похоже, начала меняться. Тот же Франсуа Досс высказывает теперь осторожный оптимизм, считая, что годы поисков увенчались, наконец, обретением новой парадигмы исторического знания. Конечно, есть историки, которые с этим не согласны и считают, что время обобщений и глобальных теорий безраздельно прошло, что история утратила статус науки и речь может идти лишь о перебирании отдельных, никак не связанных друг с другом фрагментов мозаики. Но теперь уже эти историки выглядят, скорее, традиционалистами, сохраняя приверженность старым истинам.

¹¹⁷ Dosse F. L’histoire en miettes: des “Annales” a la “Nouvelle histoire”. Paris, 1987.

В этой, заключительной, части нашего обзора мы попытаемся наметить контуры этой, не вполне отрефлектированной, “новой парадигмы” и определить некоторые перспективы социальной истории.

Франсуа Досс определяет сущность перемен в историографии как “возвращение субъекта”¹¹⁸. Речь, по-видимому, идет как об осознании активной роли историка, так и об осознании необходимости учета роли субъектов в истории: системы их представлений, их способов мыслить и действовать. Очевидно, что на этой основе возможен достаточно плодотворный методологический диалог, а то и синтез различных направлений. Таков, например, весьма оптимистический вывод исследования Л. П. Репиной¹¹⁹. Для Бернара Лепти общество прежде всего становится привилегированным объектом истории. Оно не определяется более, как одно из частных измерений производственных отношений или представлений о мире, но как продукт взаимодействия, как категория социальной практики. Чтобы организовать свои структуры или регулировать свою динамику, общество не располагает ни одной фиксированной точкой (экономической или культурной природы), которая являлась бы по отношению к нему внешней или трансцендентной. Только в игре между составляющими его актерами и институтами общество находит свои собственные референции, звучит призыв возврата к нестратифицированному образу социального.

Попробуем, как всегда, показать некоторые конкретные примеры подобного синтеза. Традиционным сюжетом социальной истории является история элит вообще и история дворянства, в частности. Вопросы определения природы французского дворянства, его социального состава, были, как мы поняли, одним из самых разрабатываемых сюжетов в французской социально-структурной истории 50-х–70-х гг. Важно подчеркнуть еще раз: в историографии старые традиции вовсе не обязаны отмирать с изменением историографической моды. От этого периода

¹¹⁸ *Dosse F. L'Empire du sens: L'humanisation des sciences humaines. Paris, 1995.*

¹¹⁹ *Репина Л. П. “Новая историческая наука”... С. 224–247.*

сохранилась, и неплохо развивается сейчас, традиция просопографических исследований¹²⁰.

Вместе с тем в 70-х-80-х гг. независимо друг от друга появляются две монографии, нарушающие каноны социальных исследований, поскольку они были основаны не на статистических материалах и даже не на нотариальных актах, а на мемуарах, трактатах, свидетельствах современников. Речь идет о работах Арлет Жуанна, которая написала книгу “Идея расы во Франции XVI–начала XVII в.”¹²¹, и Эллери Шалка “От добродетели к родословной: идеи дворянства во Франции XVI–XVII вв.”¹²².

Они констатировали резкое изменение в определении дворянского статуса: переход от понимания дворянства как социальной функции (воинской) к представлениям о дворянстве как о наследственном статусе, не зависящем от конкретного рода занятий. Следующая работа Арлет Жуанна с характерным названием “Обязанность бунта”¹²³ вскрывает достаточно сложную систему взаимодействия между монархией и дворянством, в основе которой лежали

¹²⁰ *Boisnard L.* Dictionnaire des anciennes familles de Touraine. Mayenne, 1992; *Descimon R.* Ёlites parisiennes entre XV^e et XVII^e siicles: Du bon usage du Cabinet des titres // Bibliothique de l'Ecole des chartes. 1997. Vol. 155/2. P. 607–644; *Bourquin L.* Noblesse seconde et pouvoir en Champagne aux XVI^e et XVII^e siicles. Paris, 1994. P. 9, 37–44; *Contamine Ph.* La noblesse au royaume de France de Philippe le Bel a Louis XII. Paris, 1997; *Nassiet M.* Noblesse et pauvrety: La petite noblesse en Bretagne XV^e–XVIII^e siicles. [s. l.], 1993; *Neuschel K. B.* Word of Honor. Interpreting Noble Culture in Sixteenth Century France, Ithaca, 1989. См. также многочисленные труды Шерон Кейтерин, синтез которых в кн.: *Keiterring Sh.* Patrons, Brokers, and Clients in Seventeenth-Century France. Oxford, 1986.

¹²¹ *Jouanna A.* L'id e de race en France au XVI^e siicle et au d but du XVII^e siicle. Lille; Paris, 1976. 3 vol.

¹²² *Schalk E.* From Valor to Pedigree: Ideas of Nobility in France in the XVIth and XVIIth Centuries. Princeton, 1986.

¹²³ *Jouanna A.* Le devoir de r volte: La noblesse franzaise et la gestation de l' tat moderne (1559–1661). Paris, 1989.

различного рода этические максимы, поведенческие стереотипы и представления о власти. В 90-е гг. стало очевидным, что полноценное изучение проблемы дворянства может быть только стереоскопическим, совмещающим изучение дискурсивных практик, герменевтики социальных терминов с многомерным эмпирическим исследованием практики отдельных дворянских линий или дворянства в масштабах той или иной провинции, государства и т. д. Именно так ставится проблема в работе представительницы школы А. В. Адо Л. А. Пименовой¹²⁴. Этой же точки зрения придерживается в своей программной статье Робер Десимон¹²⁵. “Без того мистического ореола, который окружал дворянство, оно было бы лишено своей социальной специфики, превратившись просто в одну из элитных групп” — считает Робер Десимон, настаивающий на том, что дворянство можно изучать лишь в контексте его отношений с королевской властью (таким образом, грань между политической и социальной историей стирается) и только лишь проводя компаративистские исследования, поскольку дворянство изначально мыслилось вне государственных границ.

Реализацией одного из проектов обновления социальной истории стало солидное четырехтомное издание “Культурной истории Франции” под общей редакцией Жана Франсуа Сиринелли и Жана Поля Риу¹²⁶. Это название пока еще режет ухо русского человека. Обычно задают вопрос: “Значит, остальная история бескультурная?”. Но ни в коем случае нельзя менять порядок слов; это не история культуры в привычном значении этого слова. Все это подвигнуло Ю. Л. Бессмертного предложить термин “культуральная история”, но легче от этого не становится. Думаю, что можно сохранить термин “культурная история” и подождать, пока мы просто привыкнем к нему, точно так же, как мы привыкли к

¹²⁴ Пименова Л. А. Дворянство Франции в XVI–XVII вв. // Европейское дворянство. Границы сословия. М., 1997. С. 50–80.

¹²⁵ Десимон Р. Дворянство, “порода” или социальная категория? Поиски новых путей объяснения феномена дворянства во Франции нового времени // Французский ежегодник, 2001. М., 2001.

¹²⁶ Histoire culturelle de la France / Sous la dir. de J. P. Rioux et J.-F. Sirinelli. Paris, 1997–1998. 4 vol.

термину “интеллектуальная история”, который еще несколько лет назад вызывал точно такие же возражения. По сути дела, речь идет об “истории через культуру”. Это достаточно гибкое понятие. В центре такой истории находится человек, его способ восприятия мира, осмысление своего места в нем. Она изучает не только то, почему и как человек действовал в истории, но и что он при этом думал и чувствовал. Отсюда — интерес к феноменам передачи культурных норм и ценностей, верований и идей, необходимых для восприятия реальности. Особо перспективным Ж. Ф. Сиринелли считает симбиоз этого направления с некогда презируемой, но теперь вновь завоевавшей всеобщее внимание политической историей, результатом чего, по его мнению, должна стать “культурная история политического”. Ее уже трудно будет обвинить в том, что это лишь история великих людей, событий и идеологий, то есть то, что обычно называют “историей сверху”. Она включает также механизмы выражения, передачи и восприятия политических идей, разлитых в обществе, их бытования на инфраполитическом уровне. Возможно, что культурная история эволюционирует также и в сторону “культурной истории социального”: ведь к этому призывал в свое время Роже Шартье. Как бы то ни было, “культурная история” — это уже не просто декларации и программные статьи, а свершившийся факт, воплощенный и в упомянутом четырехтомном издании, и в целом ряде монографий¹²⁷, словом — это один из осуществленных и долгожданных вариантов синтеза социально-структурной истории с историей ментальностей и исторической антропологией. Но, как и в случае с микроисторией, в этом жанре существовало немало работ “avant la lettre”, собственно говоря, и в 60-е, и в 80-е гг. любой хороший историк, чьи работы переживают свою эпоху, будь то Робер Мандру, Жорж Дюби, Лоренс Стоун или Алан Круа, стихийно совмещал оба подхода.

¹²⁷ См. например: *Roche D. Histoire des choses banales: Naissance de la consommation dans les sociétés traditionnelles (XVII^e–XIX^e siècles)*. Paris, 1997.

Еще одним вариантом чаемого синтеза является путь, предложенный Мартином Дингесом¹²⁸. Пройдя в своих рассуждениях уже ставший нам привычным путь критики традиционной политической и социально-структурной (в немецком варианте, “билефельдской”) истории, он переходит к исторической антропологии и микроистории, нащупывая уязвимые места и в этих, относительно новых, направлениях. Конечно, культурная герменевтика, осознание и реконструкция “эмических” (т. е. присущих самим действующим лицам) категорий необходимы, равно как плодотворно и восприятие общества в качестве внешних рамок для переговоров действующих лиц истории по поводу политического господства и распределения экономических, социальных и культурных благ. Но, как отмечает автор, ни историческая антропология, ни микроистория не могут перейти от толкования локальных контекстов к целостному описанию исторической эволюции культуры. Решения и выборы исторических субъектов сами по себе еще недостаточны для того, чтобы обойтись без системного уровня. Пытаясь найти путь включения результатов микроисторических исследований в описание исторических изменений, Мартин Дингес прибегает к понятию “стиль жизни”, под которым понимается “сравнительно устоявшийся тип решений, принимаемых индивидами или группами, делающими выбор из предлагаемых им обществом вариантов поведения”. В этом смысле люди менее похожи на автоматы, запрограммированные социализацией, но и не представляют собой автономных индивидов, полностью свободных в своем выборе. Выбор стиля жизни, т. е. предлагаемой модели, зависит от ресурсов, типа семьи и хозяйства, ценностных установок. Признание изначального неравенства жизненных шансов уравнивает опасность переоценки “рационального выбора” и опасность “культурализма”.

¹²⁸ Дингес М. Историческая антропология и социальная история: через теорию “стиля жизни” к “культурной истории повседневности” // Одиссей, 2000. М., 2000. С. 96–124.

По пути, предложенному Мартином Дингесом, в известной мере следует в своей монографии К. А. Левинсон¹²⁹. Ему удалось, на мой взгляд, очень удачно соединить историко-социологический и культурно-исторический аспекты в изучении истории административного персонала городов юго-западной Германии. Используя подход Макса Вебера, автор восстанавливает контуры социальной группы чиновников как корпуса профессиональных управленческих служащих, связанных с властью договорными отношениями верности. И он успешно справляется с этой задачей. Но не менее важная цель его работы состоит в раскрытии ментальных представлений, символических систем, обычаев и ценностей, психологических установок и моделей поведения. Для этой цели он использует понятие дискурса (т. е. системы представлений, которая для говорящего или пишущего лица сама собой разумеется и показывает, что является для него важным и правильным). К. А. Левинсон выявляет наличие особого дискурса у людей, связанных с институтом службы, но при этом выявляет некоторые различия в дискурсах в зависимости от положения этих людей в системе власти. Главный метод, используемый для выявления дискурсов, состоит в герменевтическом анализе документов, в реконструкции риторических стратегий, апеллирующих к общепринятым ценностям и понятиям. Это не мешает ему прибегать и к количественным методам, и к анализу социально-экономических параметров описываемых групп.

Таким образом, некоторые общие черты современного синтеза социальной истории и более молодых направлений исторических исследований представляются следующими:

—внимание к субъекту;

—скрупулезный учет всяческих “экранов”, стоящих между историком и объектом его изучения: дискурсивные практики и нарративные стратегии самого историка, различного рода “принуждения” текстов и контекста, образ мышления людей, особенности жанра источника, лингвистический аппарат;

¹²⁹ *Левинсон К. А.* Чиновники в городах Южной Германии XVI–XVII вв.: Опыт исторической антропологии бюрократии. М., 2000.

—анализ взаимного влияния практики действия человека, обусловленной распределением ресурсов, и культурных моделей, стереотипов мышления, все тех же дискурсивных практик.

- достаточно свободное использование различных интерпретационных моделей и свобода выбора различных методологических подходов или свободное их комбинирование : помимо прочих выгод это даст исследователю возможность противостоять “вирусу деконструктивизма”, смертельно опасному для любых монокузальных и “монометодологических” построений.

В идеале социальная история должна, как Феникс, возродить все лучшие достижения социально-структурной истории, обогатив их и по-новому осмысленными количественными методами, и подходами исторической антропологии, и богатствами микроисторического анализа, и опытом лингвистического поворота. Но это лишь в идеале. Историографическая реальность от этого пока далека. И трудностей на пути у этого синтеза немало. Они носят далеко не только эпистемологический характер, но имеют еще и институциональную природу.

“Критический поворот”, знаменовавший вступление “Анналов” в новую фазу (1988–1989 гг.), привел к обновлению вопросов, стоящих перед историками. Однако число подписчиков этого ведущего журнала существенно сократилось. Перенос внимания на проблемы исторической памяти (фундаментальный труд под редакцией Пьера Нора “Места памяти”) открыл перед исследователями новые манящие перспективы. Но этот подход, равно как и другие аспекты субъективизации истории, убеждает в релятивизме исторического знания. Слово “объективность” становится немодным. Да иначе и не может быть, ведь у каждой общины своя “правда истории”: в Соединенных Штатах, например, существует “женская история”, “негритянская (или афроамериканская, если быть политически корректным) история”. Во Франции в последнее время возникает такое явление как “конфессионизация истории”. Т.е. убежденный католик или ревностный протестант, описывая события Религиозных войн, не скрывает своих убеждений.

Это не значит, что они пишут плохие книги, но, во всяком случае, раньше во французской историографии подобная откровенность была немыслима.

И вообще, как показал Хейден Уайт, а на французской почве — Поль Вейн, исторический дискурс является фикцией, одной среди прочих. Это признание также интересно и является отправной точкой для исследований представителей “герменевтического поворота” — Мишеля де Серто, Поля Рикера, Жака Рансьера. В России также становится все больше представителей указанного направления. Все чаще вспоминают о том, что история утратила свою прогностическую функцию, что она ничего не доказывает, не может претендовать на выведение объективных законов.

В этих условиях остается лишь удивляться сетованиям коллег на систематическое сокращение ассигнований на проведение исследований. Только очень богатая страна, такая как США, может позволить себе финансировать “ненаучную” историю, да и то за счет частных фондов и частных университетов. Во Франции такое финансирование гораздо более проблематично. Что же говорить тогда о нашей стране? Во всяком случае, объединение истории в системе Академии наук не с общественными науками, а с филологией весьма симптоматично. Общество же нуждается в такой устаревшей категории как объективность и задает истории вполне конкретные вопросы: был ли Холокост, был ли геноцид армян в Турции, были ли депортации народов в СССР? И требует от нее вполне конкретных ответов. В нашей стране в связи с массовым изобретением или срочным переписыванием национальных историй, эта проблема стоит, может быть, острее, чем где бы то ни было.

Но если история распалась на осколки и в каждом таком осколке — свой язык, своя среда, своя приоритеты, если у каждого — свой дискурс и всяк “сам себе историк”, то о какой объективности может идти речь, если у профессионального сообщества нет коммуникативной системы и становится все меньше норм, принимаемых всеми? То, что историков становится все больше, то, что все больше становится полей исследования и, соответственно, все больше защищается разнообразных диссертаций — хорошо. Плохо то, что все сложнее становится, во всяком случае, формально, уличить автора в ошибках, во лжи или в халтуре. На все

есть универсальный ответ: “Я так вижу”, “У меня такая нарративная стратегия”, “У меня такое субъективное отношение к материалу”.

Жерар Нуарьель, критикуя современную ситуацию во Франции, говорит о необходимости защищать принцип объективности. Он пишет: “Проявлять бдительность по поводу используемых категорий — это одно, а считать, что можно обойтись без всяких категорий — это другое”¹³⁰. Он вспоминает то, как Э. Лабрусс в свое время, отвечая Ролану Мунье, сказал: “Есть два рода умов, в равной степени достойных уважения: те, которые ищут решения проблем и те, которые ищут дополнительные трудности на пути их решения. Я принадлежу к первой”¹³¹. Ситуация сейчас складывается таким образом, что вторые, по мнению Ж. Нуарьеля, оказываются всегда в выигрыше. Во всяком случае, существующая во Франции система написания дипломов и диссертаций стимулирует, главным образом, свободу авторского выражения. Те же, кто тратит свое время на коллективные исследования, на публикацию источников, заведомо находятся в невыгодном положении, хотя бы с точки зрения карьерного роста. Это затрудняет перспективы научной коммуникации и приводит к выпадению целых областей знания. Так, например, почти нет работ по истории финансов (за исключением, правда, исследования Филиппа Амона), что и понятно: разобраться в системе метафор какого-нибудь современного историка намного легче, чем в тонкостях и хитростях мастерства королевских финансистов.

Но если во Франции угроза “депопуляции” некоторых важных областей знания существует лишь в качестве тревожной тенденции, то в нашей стране это стало давно свершившимся фактом. Хотя бы потому, что плотность исторического сообщества у нас неизмеримо ниже, чем во Франции¹³².

¹³⁰ *Noiriel G. Op. cit. P. 215.*

¹³¹ *Idem. Qu'est-ce que l'histoire contemporain? Paris, 1996. P. 163.*

¹³² Приведу один новейший пример. В русскоязычном издании “Монтайю”, являющемся своего рода публикаторским подвигом, автор послесловия пишет, характеризуя творческий путь автора: “Э. Ле Руа Ладюри успешно прошел через рогатки классического доктората. Соединяя неприятное с бесполезным и затратив добрый десяток лет, будущий автор “Монтайю” сумел в 35-летнем возрасте

И здесь самое время перейти к факторам, внушающим некоторый оптимизм по поводу судеб социальной истории. Во Франции историков много. И разобщенность исторического сообщества, отсутствие единой господствующей парадигмы имеют и обратную сторону. Вопреки моде историки могут работать так, как их учили, оставаясь погруженными в эмпирический материал. Собственно, об этом мы говорили в начале очерка, указывая на здоровый консерватизм исторического сообщества: пока до него дойдет призыв сжечь то, чему оно привыкло поклоняться, следует новый приказ поклониться тому, что сожжено. Понятно, что в выигрыше в данном случае оказывается тот, кто несколько запоздал с выполнением первой команды. Безусловно положительным является и кумулятивный характер исторической дисциплины: лучшие образцы, созданные той или иной историографической эпохой, остаются в копилке исторического знания, их судьба не окончена, они продолжают волновать читателей. В данном очерке мы не раз приводили примеры подобных работ, то ли опередивших, то ли переживших свое время. При всей их несхожести, у них есть некий общий знаменатель: они написаны эрудированными авторами, обладающими широким историографическим кругозором, но обязательно погруженными в свои источники.

Но предпринятый нами беглый историографический обзор может привести и к другому, куда более определенному выводу. Мы убедились, что в некотором смысле все трансформации послевоенной историографии французского общества Старого Порядка можно представить как историю открытия исследователями

завершить докторский “кирпич” (так на университетском жаргоне и во Франции и в России именуют диссертацию), посвященный крестьянству Страны Ок, а затем опубликовать его в виде книги “Крестьяне Лангедока”... *Бабинцев В. А.* Волшебник из страны Ок // *Ле Руа Ладюри Э.* Монтайю... С. 505. В этой фразе звучат столь характерные нотки небрежения аграрной историей — неприятной и бесполезной. Но хочется спросить, откуда бы взялся Ле Руа Ладюри без его богатейшего опыта историка-аграрника, развившего в нем недюжинную исследовательскую интуицию? Откуда бы взялась историческая антропология А. Я. Гуревича без его многолетней работы над историей крестьянства в средневековой Англии и средневековой Норвегии?

ценности нотариальных источников, открытия все новых, подчас самых неожиданных, подходов к этому типу документов. Подробнее об этом мы поговорим в следующем параграфе.

§2. ОБЗОР ИСТОЧНИКОВ.

Следует сразу же оговорить, что данный параграф призван дать лишь общее представление об используемых источниках. Более детально об основных их типах источников, о мотивах их выбора и о методах их использования будет говориться в последующих главах.

А. Основные источники.

Общая характеристика нотариальных актов. — Достоинства и недостатки массовых источников. — Регистры инсинуаций Шатле: оригиналы и опубликованные инвентари. — Особенности поисков в Центральном хранилище нотариальных минут. — Публикации нотариальных актов и их описей. — Пособия по нотариату.

Итак, основным источником, на основе которого мы попытаемся реконструировать французское общество, являются нотариальные акты. Как мы убедились, в XX веке историки по достоинству оценили этот тип документов и каждое новое поколение исследователей открывает для себя новые грани в этих поистине неисчерпаемых источниках.

Достоинства нотариальных актов для написания социальной истории общеизвестны: с одной стороны нотариус описывал богатство реальной жизни, что отличает его от автора нормативного источника, с другой — он стремился к формализации этого разнообразия индивидуальных случаев, что значительно облегчает обработку нотариальных актов. В то же время нотариальная практика свидетельствует об изначальном, идущем “изнутри” источника (а не только от намерений пытливого историка) стремлении определенным образом упорядочить действительность, присваивая отдельным индивидам имена нарицательные, точнее социальные имена, кого-то именуя “благородным”, а кого-то “почтенным человеком”, кого-то “мэтром-колпачником, парижским буржуа”, а кого-то

“колпачником, проживающим в Париже на улице Сент-Оноре в доме под знаком Восходящего солнца”.

Акты могут сопоставляться между собой по разным параметрам, сразу отвечая на многие вопросы, казалось бы, не входившие в основную задачу составителей документа, то есть давая “объективную” картину, не зависящую от субъективных намерений нотариуса и участников сделки. Но главное, что этих актов много.

Общеизвестно, что для периода XIV–XV вв. только одна нотариальная контора города Пизы оставила после себя больше документов, чем их сохранилось для всей Древней Руси за тот же период.

В Западной Европе нотариальные конторы появляются изначально в Италии и на Юге Франции (XII–XIII вв.); в XIV–XV вв. нотариальные акты уже во множестве составлялись в Париже. Правда, сохранность парижских актов для этого периода невысока — речь идет лишь о десятках или, в лучшем случае, о сотнях дошедших до нас нотариальных документов, причем чаще мы имеем дело с их косвенным воспроизведением, например, с регистрацией некоторых завещаний в Парижском парламенте¹³³.

Лишь конец XV в. представлен уже изрядным числом сохранившихся парижских нотариальных минут. Как известно, помимо самих актов, выдававшихся на руки участникам сделки (т. е. “гроссы” — полной формы), у нотариуса оставались их копии или черновики, которые и назывались “минутами”. Королевские ордонансы издавна предписывали нотариусам обеспечивать сохранность минут своей конторы: соответствующие распоряжения издавались Филиппом IV в 1304 г., Карлом V в 1370 г., Карлом VI в 1433 г., Карлом VII в 1437 г., Франциском I в 1535 г., а в 1539 г. это требование было включено в знаменитый ордонанс в Виллер-Коттре¹³⁴.

¹³³ См., например, *Testaments enregistrés au Parlement de Paris sous le règne de Charles VI* / Publ. par A. Tuetey // *Mélanges historiques: Choix de documents*. Paris, 1880. Т. 3. (Collection de documents inédits sur l'histoire de France).

¹³⁴ “Item, quod diligenter custodient cartularia sua...” (Recueil général des anciennes lois françaises / Ed. F.-A. Isambert et al. Paris, 1821–1833. 29 vol. Vol. 2. P. 822, Vol. 5. P. 347, Vol. 8. P. 793, 855, Vol. 12. P. 483, 636).

В отличие от самого акта, минута составлялась не на пергамене, а на бумаге и представляла собой своеобразный “контрольный экземпляр”, хранившийся у нотариуса и могущий в любое время быть затребован правосудием. Оригиналов нотариальных актов дошло до нашего времени не так много, и, что самое главное, они представляют собой разрозненные документы, лишь в редких случаях образующие однородную коллекцию¹³⁵, тогда как минут сохранилось достаточно много. Начиная с определенного периода они превращаются в массовый источник.

В отечественном источниковедении определение массового источника носит характер системы, включающей в себя следующие взаимосвязанные параметры: “ординарность обстоятельств происхождения; однородность, аналогичность или повторяемость содержания; однотипность формы, тяготеющая к стандартизации; наличие законодательно установленного, а также обычаем сложившегося или складывающегося формуляра”¹³⁶. С некоего момента минуты парижских нотариальных актов вполне соответствуют этому определению. Ниже, в третьей главе, мы специально будем рассматривать обстоятельства происхождения, степень однородности и однотипности, а также особенности складывания формуляра как самих нотариальных актов, так и их минут. Остановимся пока лишь на количественных показателях. По всей видимости, в Париже ордонансы королей о хранении нотариальных минут возымели свою эффективность лишь в конце XV в.

Недавняя публикация инвентаря парижских нотариальных минут, составленных до XVI в., включила в себя более тысячи единиц описания, подавляющее большинство которых относится к самому концу XV в.¹³⁷ Это оказалось значительно больше, чем предполагалось ранее. Но для следующего, XVI столетия, сохранность парижских нотариальных архивов поистине удивительна. Прежде всего, росло число самих нотариусов. Речь идет о королевских нотариусах Парижского Шатле, приносивших присягу представителю короля — парижскому

¹³⁵ Такими коллекциями могут быть подборки документов, относящихся к одной сеньории, одному монастырю, в редких случаях — к одной семье.

¹³⁶ *Литвак Б. Г.* Очерки источниковедения массовой документации XIX–начала XX в. М., 1979. С. 7.

¹³⁷ *Bechu C.* Minutes du XV^e siècle de l'étude XIX: Inventaire analytique.

прево, уплачивавших определенную сумму и приобретающих тем самым права на отправление своей “должности” (office). Если за весь период, предшествовавший XVI в., нам известно о 19-ти парижских нотариусах действовавших в разное время, то в XVI в. их число возрастает до 392-х человек. В следующем столетии эта цифра составляет 570, а в XVIII в. — 670 нотариусов¹³⁸. Мы видим, что число нотариусов неуклонно возрастало, но что качественный скачок произошел именно в XVI столетии, непосредственно во времена Франциска I. В начале его правления в Париже действовало единовременно 13 контор, после ордонанса в Виллер-Коттре (1539 г.) — уже 42 конторы, а начиная с 1567 — 100. Речь именно о конторах (etudes), но зная их количество, не так просто установить, сколько же в Париже действовало нотариусов в течение всего века: в какой-то конторе владелец мог работать на протяжении десятилетий, в других нотариусы могли меняться чуть ли не каждый год. Весьма вероятно, что для XVI в. можно говорить не о 392, а об еще большем числе парижских нотариусов — мы вернемся к этому сюжету в третьей главе.

Вполне логичным будет вопрос о том, почему в городе, насчитывающем в самые хорошие годы от 250 до 350 тысяч жителей, находилось столько нотариусов? Отвечая на него, можно сослаться на особую роль столичного города как судебной столицы королевства, но это будет не главное. Дело в том, что в сферу компетенции нотариусов входили многие сделки, которые позже будут заключаться в приватном порядке. Нотариусы составляли не только завещания, брачные контракты или договоры купли-продажи. В конторах парижских мэтров составлялись акты о найме прислуги, договоры об отдаче в ученичество, купчие на приобретение муниципальных рент, любовные соглашения об отказе от возбуждения процесса, договоры о возмещении ущерба за выбитый в драке зуб и т. д. Самое важное, что в силу особенностей фискальной политики французских королей, любое создание новой должности приносило столь необходимые “быстрые деньги” в казну: должности продавались. Учреждая все новые конторы (как, впрочем, и все новые судебные и иные должности), король продавал их новым нотариусам, а затем получал деньги с каждой перемены их владельца.

¹³⁸ Etat des notaiers parisiens (des origines a nos jours) / Par M. Bonnot. Paris, 1993.

Гипертрофированное развитие судебной системы влекло за собой увеличение потребностей в нотариально заверенных актах, подтверждающих любые права королевских подданных.

Насколько мне известно, никто никогда не подсчитывал, сколько актов *могли бы* составить все эти нотариусы, в случае 100% сохранности этих документов. По самым грубым подсчетам, гипотетическое число всех нотариальных актов в Париже должно было составлять немногим более **одного миллиона**. Я исходил из того, что весь XVI в. условно можно поделить на три части, предположив, что в первой его трети в Париже единовременно действовало 13 контор, во второй — 42, а в третьей — 100. Допустим, что в каждой конторе составлялся как минимум один акт в день, тогда за вычетом воскресных и праздничных дней, в год контора могла составлять 261 акт, причем это число, скорее всего, занижено¹³⁹. Произведя теперь несложные вычисления¹⁴⁰, мы получим в итоге 1.335.015 актов.

Конечно, сам по себе “личный состав” коллегии парижских нотариусов для нас в данном случае не так важен, большее значение имеет численность дошедших до нас нотариальных минут. Документы же, как известно, подвергались всем испытаниям времени, становясь жертвами пожаров, воды, грызунов и переездов. Оставаясь до 1928 г. в собственности владельцев нотариальных контор, собрания древних минут как документация, отнюдь не нужная для текущей работы, хранились в каких-нибудь наиболее удаленных местах, например, на чердаках и в подвалах. Иногда эти архивы воспринимались если не самими нотариусами, то их многочисленными клерками как досадная обуза, занимающая вечно дефицитное место. Все это не могло не сказываться на сохранности этих документов. Впрочем, как знать, если бы нотариальные архивы были национализированы в тот период, когда об этом заговорили впервые, т. е. в эпоху Реставрации, то они погибли бы во время Парижской Коммуны, когда сгорела большая часть парижских архивов. Децентрализация хранения иногда может играть и позитивную роль.

¹³⁹ На самом деле, как показывает анализ нотариальных минут, конторы достаточно часто работали по воскресеньям.

¹⁴⁰ $13 \times (33 \times 261) + 42 \times (33 \times 261) + 100 \times 33 \times 261 = 1.335.015$

Следует учесть, что хранилище минут, организованное при какой-нибудь конторе, вовсе не обязательно оставалось “привязанным” к ней навсегда. Достаточно частыми были случаи, когда наследники нотариуса производили раздел таким образом, что одному доставалась должность и сама контора, а другому — “практика”, т. е. хранилище минут. Он приобретал новую контору и объединял старый фонд с новым. Этих и других примеров “мобильности” хранилища минут было так много, что уже к началу XVII столетия фонд минут любой конторы имел сложную структуру, включая в себя несколько комплексов “*minutiers*” разных предшествующих контор. И лишь самоотверженные усилия архивариусов конца XIX и XX вв. помогли затем установить их происхождение¹⁴¹.

На сегодняшний день в Центральном хранилище нотариальных минут Национального архива (*Minutier Central* — MC), хранятся 124 таких комплекса минут (*Minutiers*), из них 69 содержат фонды, предшествующие 1601 г. Каждый из таких комплексов включает в себя то, что архивисты условно называют “связки” (*liasses*) минут, и этих связок от нескольких штук до нескольких сотен в различных комплексах. Собственно говоря, “*liasses*” и являются единицами хранения Центрального хранилища. Иногда речь идет действительно о связках: нотариус или его клерки “насаживали” минуту каждого нового акта на нитку или ремешок. Но иногда нотариусы вели регистр или журнал, переписывая в него содержание каждого акта. Случалось, разрозненные листы переплетались в виде кодекса или же складывались один за другим в коробку. Единственное, что объединяет эти столь разные по форме “связки” — хронологический принцип их ведения. Впрочем, были и “тематические” связки — некоторые типы документов, например, посмертные описи, могли подшиваться отдельно.

¹⁴¹ Энтузиастом исследования хранилищ нотариальных минут был Эрнст Куайак, долгие годы он добивался принятия закона о нотариальных архивах, обязывающего нотариусов сдать свои древние фонды в единый депозитарий — Центральное хранилище нотариальных актов. Закон этот вышел уже после смерти Куайака, в 1924 г., и с тех пор в Национальном архиве кипела работа по классификации и систематизации разрозненных коллекций минут.

Никто даже приблизительно не брался подсчитать, сколько отдельных минут в среднем заключено в каждой такой связке: число “подшитых” минут может колебаться от одного-двух десятков до двух-трех сотен. Поэтому неизвестно, сколько же актов содержат в себе фонды Центрального хранилища нотариальных минут. По моим оценкам (о том, на чем они основаны, будет сказано чуть ниже), их число вряд ли составляет менее 40% от гипотетического числа всех актов, составленных в Париже в XVI в. Поэтому, если принять на веру мою, в свою очередь, очень грубую оценку возможной численности таких актов в 1.335 тысяч, то будет не совсем невероятным предположить, что указанные 69 комплексов могут содержать не менее **полумиллиона** нотариальных минут XVI в. С этим можно не соглашаться. Но трудно оспорить тот факт, что их число очень велико и измеряется **сотнями тысяч**.

Надо отметить, что в реальности парижские архивы хранят значительно большее число нотариальных актов для того же XVI в., как, впрочем, и для любого другого. Дело в том, что многочисленные материалы гражданских процессов, так называемые “*instruments de procès*” помимо выписок из процессуальных документов, содержали копии (а иногда и оригиналы) нотариальных актов, имевших отношение к оспариваемым правам. Такие подборки документов чаще можно встретить среди личных фондов (документы серии “АА” по номенклатуре французских архивов). Правда, кажется, еще никто не задавался целью сопоставить эти судебно-нотариальные источники с материалами нотариальных минут для того же Парижа.

Но и при существующем положении дел, число парижских нотариальных актов буквально подавляет историков. Поэтому исследователь чаще всего работает с выборками. Как мы отмечали в предыдущих параграфах, иногда исследователи (действовавшие в одиночку или целой “командой”) анализируют фонды одной или нескольких контор, иногда пытаются сделать хронологический “срез” — просмотреть все минуты за определенный год. Достаточно удобны тематические подборки документов, сделанные архивистами по определенной проблематике. В качестве своеобразной выборки можно рассматривать и документы Парижского суда первой инстанции — знаменитого Шатле. С 1539 г. в особых книгах Шатле велась обязательная регистрация дарений недвижимости. Эти книги Регистров

Шатле и легли в основу моих исследований. Во второй главе я подробнее остановлюсь на причинах своего выбора, пока же ограничимся общей характеристикой этого источника.

Согласно ордонансу Франциска I, принятому в Виллер-Коттре в 1539 г., дарственные нотариальные акты, относящиеся к недвижимому имуществу, должны были быть “инсинуированы” (*insinuer*), т. е. внесены в регистры судов первой инстанции. В провинции это были суды сенешальств, а в Париже таким судом был Шатле, возглавляемый Парижским королевским прево, и рассматривавший дела превотства и виконтства Парижа (т. е. самого города и его округа). Таких регистров, восходящих к XVI в., в провинции сохранилось немного (в частности, в Бордо и в Орлеаннэ), но Парижские серии регистров Шатле сохранились полностью за период с 1539 г. и до самой Французской революции (“Регистры инсинуаций” Парижского Шатле, серии Y 89–Y 370 Национального архива).

По сути это были регистры нотариальных актов, но если в нотариальных минутах мы имеем дело лишь с черновиками или сокращенными версиями подлинных актов, то в регистрах акты переписывались слово в слово, или, как тогда говорили, “гроссировались” (от глагола “*grossoyer*”), т. е. воспроизводились все формулы, обычно опускаемые в минутах, но необходимые для того, чтобы нотариальный акт возымел юридическую силу в случае судебного разбирательства. Регистры велись на бумаге и представляли собой кодексы ин-фолио, каждый из которых обычно соответствовал определенному году. Их сохранность намного лучше сохранности нотариальных минут. Они писались хорошим почерком, как правило, имя составителя акта выносилось на поля, что облегчало поиск.

К сожалению, доступ к оригиналам ограничен — в настоящее время микрофильмированы лишь первые 12 томов регистров. Впрочем, копии сделаны недавно и отличаются прекрасным качеством, читать можно практически без проблем.

Инвентарь первых 15 томов регистров (серии Y 89–Y 100), соответствующих периоду с 1539 по 1559 гг. (правление Франциска I и Генриха II) был опубликован и Эмилем Кампардоном и Александром Тюетеем в 1906 г. в знаменитой серии

“История Парижа”¹⁴². Инвентарь регистров снабжен полными индексами, содержит аналитическое описание всех 5382 актов, некоторые из этих описаний включают в себя цитаты, порой довольно пространные.

С содержательной точки зрения дарения, включенные в регистры, представляют собой несколько типов актов, причем распределение актов по этим типам весьма неравномерно. Из 5382 актов 1350 представляют дарения, адресованные студентам Парижского университета (впрочем попадаются и единичные дарения студентам иных французских университетов), 335 дарений составлены по поводу заключения брака, 96 дарений представляют собой фрагменты завещаний, 65 актов являются взаимными дарениями супругов и др. Иногда акт регистрировался два раза: в случае, когда каждая из сторон сделки хотела “подстраховаться” и иметь свою собственную копию свидетельства о регистрации.

В количественном отношении акты расположены по разным регистрам весьма неравномерно. До 1552 г. их число все возрастает (регистр Y 89 содержит 287 актов, регистр Y 94 — 350, Y 98 — 400 актов). Но затем наступает пауза и регистр Y 99 охватывает период с 1553 по 1558 гг., включая в себя лишь 200 актов. Затем регистр Y 100 вновь возвращается к прежним показателям и включает в себя 320 актов за 1558–1559 годы. После некоторых поисков мне удалось установить причины такого “перерыва постепенности”, но речь об этом пойдет во второй главе.

Эта публикация, хранящаяся в некоторых московских библиотеках, и послужила отправной точкой для моего исследования. В дальнейшем мне удалось получить возможность работы в Национальном архиве, в частности, с тем, чтобы сопоставить публикацию инвентаря с оригиналами регистров.

Насколько полно опубликованный инвентарь дает представление об источнике? В целом труд Э. Кампардона и А. Тюетея можно смело оценить как весьма удачный. Эпоха III Республики во Франции вообще была наиболее благоприятной для публикаций документов, нам остается лишь изумляться упорному труду архивистов-публикаторов, к лучшим из которых принадлежат и авторы инвентаря

¹⁴² Inventaire des registres des insinuations du Châtelet de Paris: Rignes de François I et de Henri II / Ed. par E. Campardon et A. Tuetey. Paris, 1906.

регистров Шатле. Есть однако позиции, намеренно опущенные Тюетеем и Кампардоном. Это вполне естественно, ведь речь шла о том, что французские издатели источников называют “analyse”, целью которого является краткое знакомство читателя с основным содержанием акта, и лишь вкус к историческим деталям, являвшийся неотъемлемым свойством этих современников Сильвестра Боннара, побуждал их иногда включать определенные пассажи источника в свое описание полностью.

Знакомство с оригиналом показало, что схема регистрируемого акта была следующей:

- преамбула;
- информация об участниках дарения, стороны сделки с перечислением их должностей, титулов, иногда с указанием места жительства и иных данных;
- информация об объекте дарения;
- информация об обязательствах сторон и о мотивах дарения;
- информация о дате составления акта;
- информация о регистрации его в Шатле (дата и личность того, кто осуществлял регистрацию).

Вполне обоснованно опуская преамбулу, как чисто формальный элемент, авторы публикации инвентаря, к сожалению, опускали и содержащееся в нем упоминание о нотариусах, составивших акт. А ведь имя нотариуса является главной “зацепкой” для дальнейших разысканий дополнительных сведений об участниках сделки.

Кампардон и Тюетей насколько возможно полно воспроизводили сведения об участниках сделки и об объектах дарения, особенно в том случае, если их описание могло бы быть полезным для истории города (учитывая направленность серии, затеваемой в первую очередь для освещения истории Парижа). Однако они опускали сведения о наличии или отсутствии различных “почетных эпитетов” (“почтенный человек”, “благородный человек и ученый магистр” и проч.). Издателям начала XX века они казались самоочевидными и не имеющими особого значения, в то время как для грядущих энтузиастов социальной истории эта информация станет наиболее важной.

Обязательства сторон воспроизводились издателями, если они содержали некоторое отступление от нормы; еще с большей полнотой этот принцип был

воплощен при указании на мотивацию дарений: они воспроизводились произвольно, лишь те из них, что показались авторам “забавными”. Издатели эпохи антиклерикальных законов, только что принятых III Республикой, полностью игнорировали различного рода благочестивые формулировки, столь важные для современных историко-антропологических исследований.

Воспроизводя дату составления акта, публикаторы не упоминали о том, когда и кем он был зарегистрирован в Шатле. Но эта информация, как будет показано в третьей главе, может быть весьма существенной.

Таким образом, публикация может стимулировать лишь первые шаги исследователя, способна дать некоторое суммарное “валовое” представление об источнике, но не снимает необходимости знакомства с оригиналами регистров Шатле. И все же, следует повторить, что это была одна из лучших публикаций такого рода.

Вполне естественно, что наблюдение над некоторыми процессами на материале анализируемых регистров, побуждали обратиться к аналогичным сериям, относящимся к более позднему времени. Интересно было посмотреть, изменялся ли состав дарителей и соотношение между различными категориями актов.

Однако регистры Шатле последующих серий на момент моей работы в Париже не выдавались читателям и не были микрофильмированы. Отсутствовали и их опубликованные инвентари, подобные изданиям Э. Кампардона и А. Тюетея. Инвентари регистров, составленных после 1559 г. были доступны лишь в виде микрофиш рукописных карточек, составленных архивистами межвоенного периода. Помимо проблем палеографического характера, обостренных тем, что микрофиши представляют собой негативы, этот картотечный инвентарь обладает рядом недостатков: отсутствуют именные и предметные указатели, опущены имена нотариусов, описание содержания дарений дано в сверхкраткой форме. Поэтому картотека дает лишь самое общее представление об актах и может служить лишь ориентиром для поисков, которые, увы, оказались невозможны.

Тем не менее я использовал картотеку для осуществления зондажа серий регистров за 10 лет, с 1560 по 1571 гг. (**Серии Y 101–Y 111**), что позволило судить о некоторой динамике регистрации нотариальных актов.

Конечно, далеко не все дарения недвижимости, совершаемые в Париже в этот период, непременно регистрировались в Шатле. В этом несложно убедиться, сопоставив данные других публикаций парижских нотариальных актов за тот же период. Но мы можем быть уверены, что для всех актов, занесенных в эти регистры, когда-то имелись соответствующие нотариальные минуты. На втором этапе исследования я обратился к поискам минут этих зарегистрированных актов в Minutier central. Конечно, эта работа была проведена лишь для некоторых серий актов, и найти такие минуты-“прототипы” мне удавалось не более, чем в половине всех случаев. На этом, собственно, и основана моя приблизительная оценка степени сохранности фондов парижских нотариальных минут. Но кроме проверки информации, содержащейся в регистрах, я обращался к фондам Центрального хранилища также и для поиска дополнительных сведений о тех или иных заинтересовавших меня участниках сделок.

Как мы уже поняли, эти фонды состоят из “связок” минут. В отличие от “гроссы”, минута чаще всего опускала преамбулу, изобиловала сокращениями, из нее часто выкидывались стандартные формулы, лишь обозначаясь словами “Et cetera” или просто “etc.”, либо особыми значками. Почерк, которым написаны минуты, как правило, неудобочитаем. Зачастую минуты подпорчены сыростью (вспомним, что условия хранения были не слишком благоприятными). Все это создало нотариальным минутам XVI в. отчасти заслуженную репутацию “гиблого” источника. И все же черновики актов обладают некоторыми преимуществами, иногда они хранят следы совместной работы над текстом нотариуса с одной стороны и его клиентов — с другой, содержат важные пометки на полях, позволяют лучше понять, что для нотариуса и участников сделки было главным, а что второстепенным.

Нотариальный акт подписывали два нотариуса: авторитет парижских мэтров был столь высок, что акт, под которым стояли имена двух нотариусов Шатле, не требовал дополнительных свидетельских подписей. Как правило, минута акта хранилась в конторе того из нотариусов, чья подпись стояла второй. Во всяком случае, знание имен нотариусов, составивших данный акт, — это та “зацепка”, с которой обычно начинают поиски в Центральном хранилище нотариальных минут (вот почему пропуск имени нотариусов в публикации Кампардона и Тюетея ,

делает ее непригодной для непосредственных изысканий в фондах нотариальных минут — недостающую информацию можно установить только после консультации с оригиналами Регистров серии Y).

Для того, чтобы отыскать акт, составленный таким-то нотариусом в таком-то году (например, нотариусом Луи Россиньолем 15 мая 1549 г.), нужно обратиться к общему списку парижских нотариальных контор и, если искомый нотариус там обозначен, то найти, каким шифром помечены минуты его конторы (в нашем случае это будет шифр LXXIV). Затем надо обратиться собственно к каталогу хранилища минут и посмотреть, есть ли в серии минут, помеченных данным шифром, те из них, что относятся к искомой нами дате. Например, акты, составленные Луи Россиньолем с марта 1549 по март 1550 гг., имеют № 89. Следовательно, надо оформлять электронный заказ под шифром: MC/LXXIV/89 и затем, получив связку или кодекс, содержащие десятки или сотни актов, пытаться отыскать нужный документ по дате, помечаемой обычно перед подписью нотариуса¹⁴³. Внутри связки страницы, как правило, не нумеровались (иногда номера проставлял карандашом какой-нибудь сердобольный архивист). Ориентироваться в поисках приходится лишь на основании даты, стоявшей в конце документа. Нет нужды говорить, что сама дата, как правило, записывалась в сокращенном виде и также была неудобочитаема.

По большей части “связка” соединяла акты, составлявшиеся в данной конторе в течение одного года (от Пасхи до Пасхи). Однако, как отмечалось выше, могли быть и исключения.

Индекс нотариусов и каталог “связок” нотариальных контор — этим и ограничивается информационно-поисковая система Центрального хранилища нотариальных минут. Историки, задающиеся целью найти сведения о каком-то

¹⁴³ Иногда приходится просматривать все же несколько связок, поскольку то ли сам нотариус, то ли последующие архивисты выносили часть актов отдельно, например группируя несколько брачных контрактов или завещаний. Иногда отдельные документы по тем или иным причинам отъединялись от своей связки, и из таких отдельных листков составлялись особые единицы хранения. Поэтому искомый акт Россиньоля может храниться и в связке с № 89, и 89 bis, и, например, 116)

человеке, должны изначально иметь хотя бы один составленный им нотариальный акт. Как правило, клиентура нотариусов была устойчивая, поэтому, если методично просматривать связку за связкой все дела данной конторы, то есть шанс обнаружить новые акты, относящиеся к искомому персонажу. Если “отправного” акта нет, то полезным может оказаться знание места проживания данного человека, т. к. нотариусы, как правило “распределяли” между собой территорию города и его ближайшей округи.

Сказанное здесь является не столько жалобами на тяжелый хлеб исследователя, сколько необходимым дополнением к замечаниям предыдущих параграфов об эволюции современной историографии. Помимо всех прочих соображений и эпистемологических “вызовов”, необходимо учитывать и некоторые материальные аспекты работы с нотариальными источниками. Тогда становится понятно, почему обращение к ним произошло относительно поздно, и почему сегодня многие историки предпочитают анализировать литературные памятники, изучая “нарративные стратегии” и “дискурсивные практики” Монтеня, Брантома или Маргариты Наваррской, а что еще привлекательнее, Люсьена Февра, Фернана Броделя или Мишеля Фуко. Помимо увлеченности идеями “лингвистического поворота”, порой историком движет и элементарное опасение за свое здоровье. Дени Крузе, в свое время участвовавший в семинаре Дени Рише (вспомним, что этот семинар был ориентирован на работу с нотариальными источниками), на вопрос о том, почему он основывает свои монографии исключительно на опубликованных источниках, отвечает примерно так: “В свое время я усиленно работал с архивами нотариальных минут. Но я заметил, что каждый семестр мое зрение ухудшалось на одну диоптрию. В конце концов, я понял, что могу стать приличным палеографом, лишь став совершенно слепым. С тех пор предпочитаю работать с печатными текстами”. В этом ответе, конечно, есть немалая доля эпатажа, однако этот эффект достигается как раз тем, что историк озвучивает соображения, которые принято обычно скрывать в академических кругах. Но с учетом этого, более значимым представляется энтузиазм историков 50-60-х гг., с головой погружившихся в безбрежное море нотариальных актов в поисках “подлинной” социальной истории. В чем-то эти “лирики” были подобны “физикам” того же времени, воспетым в фильме “Девять дней одного года”.

И все же отыскать сведения о конкретном человеке, повторяю, хоть и трудно, но принципиально возможно, несмотря на рудиментарное состояние информационно-поисковой системы.

Если же исследователь ставит перед собой иную задачу, например, проанализировать документы определенного типа или охватить в своем исследовании какой-нибудь городской квартал, а то и весь город за определенный отрезок времени, то его задача становится еще сложнее. Она требует фронтального просмотра всех связок. Очевидно, что такое под силу либо коллективу исследователей, либо ученому, посвятившего нотариальным минутам десятки лет своей жизни.

Карточная картотека, имеющаяся в справочном зале читательской зоны Национального архива (CARAN) сугубо фрагментарна и носит характер случайной выборки. Но в распоряжении архивистов есть несколько специальных картотек (*borderaux*), в основном, относящихся к нотариальным актам видных политических деятелей и гуманистов, художников, религиозных лидеров, что помогает выполнять читательский заказ, и, порой, давать полезные справки. Но как показал мой опыт¹⁴⁴, эти указания также поневоле фрагментарны, и даже о претензиях на исчерпывающий характер речь не идет. Время от времени возникают масштабные начинания, например создание индекса *“Минотавр”*, который соединил бы все акты за 1551 г., но до конца они редко доводятся. А особенность французских научных институтов заключается в том, что подобные проекты слишком связаны со своими создателями, и предсказать, какая судьба ждет их и накопленные в

¹⁴⁴ Я обратился за справкой об актах, относящихся к парижскому адвокату Шарлю Дюмулену. Мне была любезно предоставлена информация о восьми нотариальных актах, имеющих отношение к принадлежащей ему сеньории (надо отметить, что один из этих актов оказался “заставлен” и был в конце концов обнаружен мной не под тем шифром, который был указан в справке). Но помимо этого мной были найдены еще четыре акта Шарля Дюмулена. Кроме того, из юридических трактатов самого Дюмулена мы узнаем, что он достаточно часто посещал нотариальные конторы и заключал различные сделки, на которые затем ссылался в качестве примеров в своих комментариях к парижской кутюме.

процессе работы данные, после того, как данный историк прекращает свою научную деятельность, практически невозможно.

Иногда собранные карточки остаются в семье их создателя и передаются по наследству. Порой это приносит свои плоды, учитывая, что во Франции часто ремесло историка становится наследственным. Так, например, коллекция нотариальных актов, относящихся к парижским типографам и книгопродавцам XVI в., была собрана в XIX в. парижским эрудитом и издателем Огюстом Ренуаром, но лишь его внук Филипп Ренуар опубликовал инвентарь этой коллекции в 1966 г. Коллекции Пьера Баблона, одного из участников масштабного издания памятников по истории города, предпринятого в конце XIX–начале XX в., была использована его потомком, известным историком Жаном-Пьером Баблоном, издавшим соответствующий том “Новой истории Парижа” в 1974 г.

Иногда собранные данные передаются ученикам и коллегам. Такова была судьба картотеки Дени Рише, отражавшей беспрецедентный по полноте анализ всех связей минут, современных Варфоломеевской ночи (1572). Она была передана его коллеге Роберу Десимону и хранится ныне в Центре исторических исследований Института Высших социальных исследований (E.H.E.S.S.). Но грандиозная коллекция карточек, охватывающих описание завещаний XVI–XVII вв., которую составляла команда молодых историков под руководством Пьера Шоню в начале 1970-х годов, была впоследствии уничтожена, поскольку занимала слишком много места.

Если говорить о сплошном изучении всех актов по хронологическому или по какому-то иному принципу, либо же актов, объединенных в связках одной или нескольких контор, то таких работ буквально единицы: помимо упомянутых исследований под руководством Дени Рише и Пьера Шоню, нечто подобное предпринимал для несколько более позднего периода Роллан Мунье.

Понятно, что большим подспорьем для любого исследователя (а не только для тех, кто по разным причинам оторван от французских архивов) могут стать публикации нотариальных актов, точнее издание их аналитических инвентарей.

Первопроходцем и горячим энтузиастом публикации таких инвентарей был Эрнест Куайак, также участвовавший в работе по изданию коллекции документов по истории Парижа. Много лет он вел переговоры с нотариусами, обследуя коллекции древних минут, хранившиеся в архивах их контор. С 1893 г. он начал

публиковать свои описания нотариальных фондов в выпусках “Бюллетеней общества по изучению истории Парижа и Иль-де-Франса”. Именно его усилия привели в конце концов к перелому в общественном мнении и в настроениях самих нотариусов, что помогло претворить, наконец, в жизнь давнюю идею о национализации древних нотариальных архивов. Правда, закон этот вышел уже после смерти Куайака. В 1905 г. он издает первый том своего “Сборника нотариальных актов, относящихся к истории Парижа и его окрестностей в XVI в.”, второй том вышел уже посмертно, в 1923 г. в той же серии “Всеобщей истории Парижа”¹⁴⁵. Он издал свой “анализ” архивов четырех нотариальных контор Левого берега Жана и Пьера Крозонов, Ива Буржуа и Катрин Фардо за период с 1498 по 1560 гг. Как и публикация Кампардона и Тюэтея, это издание является аннотированным указателем, включавшим в себя некоторые цитаты. Задача Куайака была благородной — построить “анализ” так, “чтобы эрудит будущего смог бы уже не прибегать к оригиналу... на тот случай, если документ будет утерян, или доступ к нему станет невозможен”¹⁴⁶. В общей сложности он “проанализировал” 6610 актов, поэтому два тома публикации Куайака могут служить вполне достойной базой для исследований по социальной истории, по истории культуры, истории города. Ни одно серьезное исследование, так или иначе анализирующее парижское чиновничество или иные вопросы социально-политической истории, не обходится без использования этого издания. Они могут стать и самостоятельной базой для исследования, например, для наших студентов, особенно если соединить акты, опубликованные Куайаком, с публикацией Кампардона и Тюэтея. В последнем случае, мы располагаем выборкой, насчитывающей почти 12 тысяч актов, относящихся к первой половине XVI в. Это не столь уж и малое число, составляющее от 5 до 10% всех сохранившихся к этому периоду документов, или от 2,5% до 5% всех актов, которые могли составляться в этот период в Париже, что позволяет производить подсчеты статистического

¹⁴⁵ *Coyecque E.* Recueil d'actes notariés relatifs à l'histoire de Paris et de ses environs au XVI^e siècle. Paris, 1905. Vol. 1: 1498–1545. N 1-3608; Paris, 1923. Vol. 2: 1532–1555. N 3609–6610.

¹⁴⁶ *Ibid.* Vol. 1. P. XVII.

характера. Надо отметить, однако существенное различие между двумя публикациями — акты, собранные Куайаком, относятся к достаточно компактному району Парижа, его университетскому кварталу. Если учесть консервативность клиентуры парижских нотариусов, предпочитавших иметь дело с одной и той же конторой, то на основе этого издания можно проследить историю отдельных семей, некоторую динамику социальных процессов, происходивших в городе. Но это будет весьма специфический район, населенный интеллектуалами, мастерами книжного дела, мелким чиновным людом, обслуживающим персоналом, в то время, как акты контор торгово-ремесленного Правого берега, дали бы совсем иную картину. В связи с этим позволю себе некое историографическое отступление.

Израильский историк Э. Барнави, ученик Ролана Мунье, в 1980 г. опубликовал монографию “Партия Бога”¹⁴⁷, посвященную “Совету 16-ти”, самой активной части Парижской Католической лиги 1585-1594 гг. Историк увидел ядро движения состоявшим из “социальных аутсайдеров”, обделенных привилегиями. Наименее обеспеченные, по мнению Барнави, составляли ядро самых последовательных лигеров, костяк будущей партии 16-ти, в то время как более состоятельные проявляли колебания. Э. Барнави отводит купечеству скромную роль в движении, отмечая, что оно ограничивалось главным образом финансовой помощью. Главное же место принадлежало прокурорам, секретарям, нотариусам, адвокатам и духовенству. Принципиальная новизна концепции Барнави состояла в том, что он увидел в “Совете 16-ти” политическую партию принципиально нового типа, которая скреплялась “горизонтальной солидарностью” своих членов, обладала устойчивой организационной структурой, формальным членством, программой, идеологией и пропагандистским аппаратом. Захватив власть в городе и удерживая ее, “Шестнадцать” представляли, по мнению Барнави, первую в истории массовую партию с “зачатками тоталитаризма”. Спаянная железной дисциплиной, тщательно заботясь об отборе своих новых членов и об их безграничной преданности, партия при этом постоянно апеллировала к массовости как важнейшему доказательству своей правоты. Беспощадная к своим врагам, она объявляла всякого политического

¹⁴⁷ *Barnavi E. Le Parti de Dieu: Etude sociale et politique des chefs de la Ligue parisienne, 1585–1584. Leuven; Brussels, 1980.*

противника еретиком, себя же считая безгрешной хранительницей истины в последней инстанции.

Эта концепция Барнави встретила серьезные возражения со стороны ученика Дени Рише Робера Десимона¹⁴⁸. Он считал Лигу порождением особой ситуации второй половины XVI в.: когда вся система старого, еще средневекового города под воздействием абсолютизма столкнулась с угрозой утраты и социально-политического равновесия, и культурно-религиозного единства, произошло возрождение старых традиционных связей в среде буржуазии, активизация старых религиозно-этических форм городской социальности (конфрерии, секретные союзы, заговоры, лиги и пр.). Парижская Лига была не политической партией, а, скорее, религиозным братством мирян. Отличительной чертой движения, по мнению Робера Десимона, был ярко выраженный городской патриотизм, “гражданственность”, обостренное чувство законности. Он ставит под вопрос не только авторитарный характер “Партии 16-ти”, но и само существование такой партии. Действия “Шестнадцати” не направлялись из единого центра и не являлись запланированными акциями. По иному видится Роберу Десимону и социальная характеристика движения. Предпринимая полное просопографическое исследование состава активистов движения “16-ти”, Десимон использовал материал нотариальных минут: копии сделок, завещаний, брачных контрактов, посмертных описей, относящихся к активистам Лиги, членам их семей, к их предкам и их потомкам¹⁴⁹. Знание нотариальных актов предполагало доскональное знакомство с исторической топографией города, и оно позволило уточнить вопрос о социальной сущности движения. Выяснилось, что свидетельства нарративных источников о борьбе “базоши” против магистратов как о главном социальном содержании Лиги, о полной смене руководства на уровне кварталов и капитанов

¹⁴⁸ Полемика Десимона и Барнави развернулась на страницах “Анналов” в 1982 г. *Descimon R. La Ligue a Paris (1585–1594): Une R vision; Barnavi E. Riponse a R. Descimon; Descimon R. La Ligue: Des divergences fondamentales // Annales: E. S. C. 1982 (janvier–f vrier). P. 72–128.*

¹⁴⁹ *Descimon R. Qui  taient les Seize? Mythes et r alit s de la Ligue parisienne, 1585–1594. Paris, 1983.*

буржуазной милиции и о самоустранении купечества справедливы лишь для кварталов Левого берега. Этот район (так называемый Университет), где жили сами авторы свидетельств о Лиге, отличался высокой концентрацией судебных, клерков, духовенства, университетского люда. Элие Барнави, конечно, использовал нотариальные акты (как использовала их вся “школа Мунье”) для подкрепления своих выводов. Но все дело в том, что он, как оказалось, работал с материалами контор, расположенных именно на Левом берегу. На Правом же берегу влияние купечества было гораздо более сильным, и полной смены военно-политического руководства там не произошло. Знакомство с материалами нотариальных контор всего Парижа позволило Десимону установить зависимость лигерского “активизма” от родственных уз. Так, изначально среди лигеров было много как представителей старых парижских семей, так и лиц, не имевших разветвленной системы родства в городе. Характерно, что последние явно преобладали среди тех лигеров, которые переметнулись на сторону короля. Именно в рамках семьи обеспечивался единый фронт группировок буржуазии, когда старший сын купца был адвокатом, зять — советником Парламента, младшие сыновья — прокурорами и купцами.¹⁵⁰ Как видим, материалы разных нотариальных контор дают разное видение социальных процессов.¹⁵¹

¹⁵⁰ Впрочем, почти полное теоретическое размежевание и бескомпромиссные дебаты не помешали тому, что уже через три года непримиримые оппоненты выпустили совместную монографию, посвященную одной из кульминационных точек Парижской Лиги — убийству Президента Парламента Бриссона в 1591 г. Разногласия оставались, но они помогли дать стереоскопический взгляд на проблему. К сожалению, подобное разрешение историографических споров не характерно для нашей традиции историописания.

¹⁵¹ О путях и перспективах использования историками Франции нотариальных архивов см. Sarazin J.-Y. L'historien et le notaire. Acquis et perspectives de l'étude des actes privés de la France moderne // Bibliothèques de l'École des chartes, t.160, 2002, p.229-270.

Серьезным недостатком публикации Куайака для нас является то, что он затронул в своей публикации далеко не все документы “связок”: “это не представлялось технически возможным, да и не все контракты заслуживают внимания”¹⁵². Публикатор оставлял лишь те документы, которые содержали информацию, которую было бы трудно или вообще невозможно найти в другом месте, а также те акты, которые представляют интерес из-за объекта сделки, или из-за личностей, заключавших сделку.

Поскольку это издание осуществлялось в рамках грандиозной программы публикации источников по истории Парижа, первостепенное внимание уделялось сохранению информации о парижских домах, о работах по украшению улиц, церквей, о выдающихся людях, или забавных сторонах повседневной жизни парижан. Все это понятно, но делает публикацию Куайака мало пригодной для исследования соотношений между отдельными типами сделок, для изучения “удельного веса” тех или иных форм деятельности в ритме повседневной жизни. Как показал мой беглый просмотр некоторых связок, “анализируемых” Куайаком, он считал “не представляющими ценности” до 60% актов: договоры купли-продажи сельской недвижимости, долговые обязательства, покупку муниципальных рент, договоры о найме жилья, если в них не описывалось здание.

Многу были использованы и другие публикации нотариальных актов. Выше уже говорилось о публикации Филиппа Ренуара, собравшего коллекцию документов, относящихся к миру парижских мастеров книжного дела¹⁵³. Большим подспорьем оказались осуществляемые сотрудниками Национального Архива публикации аналитических указателей по определенным темам¹⁵⁴. Особенно полезной для меня

¹⁵² *Coyecque E.* Recueil d'actes... Vol. 1. P. XVII.

¹⁵³ *Renouard Ph.* Documents sur les imprimeurs, libraires, cartiers, graveurs, fondeurs de lettres. Paris, 1901; *Idem.* Répertoire des imprimeurs parisiens: Libraires, fondeur de caractères et correcteurs d'imprimerie. Paris, 1965.

¹⁵⁴ *Jurgens M.* Documents du minutier central des notaires de Paris: Inventaires après décès (1483–1547). Paris, 1982.*

оказалось издание Мадлен Юржанс “Ронсар и его друзья”¹⁵⁵. В нем были собраны аналитические описания актов, относящихся к среде парижских гуманистов XVI века.

Итак, обработав сперва данные, содержащиеся в публикации “Регистров инсинуаций Парижского Шатле” за 1539–1559 гг. (точнее, данные, относящиеся к некоторым типам актов), я обратился затем к оригиналам этих регистров. В случае необходимости, я искал минуты зарегистрированных актов в Центральном хранилище нотариальных минут, а также иногда пытался разыскать в них сведения, относящиеся к заинтересовавшим меня участникам сделок. В этом случае мне помогали в этом публикации нотариальных актов, точнее их аналитических инвентарей.

Для работы с нотариальными источниками мне потребовались сведения о правовых и “технических” аспектах нотариальной практики того времени. С этой целью я привлек учебники по нотариату, составленные в XVI веке. Это анонимный трактат “Протокол: искусство и стиль письмоводителей (и) нотариусов”, опубликованный в 1550 г.¹⁵⁶, а также учебник лионского юриста Парду дю Пра¹⁵⁷. Оба этих памятника восходят к старым итальянским образцам и содержат рассуждения о требованиях к нотариальному акту и правилам его составления, приводят образцы формул. В моем распоряжении оказался и весьма любопытный памятник — пародийный учебник для молодых нотариусов, принадлежащий к жанру так называемой “рекреативной литературы”. Речь идет о шуточном трактате лионского юриста, близкого к гуманистическим кругам, Бенуа де Тронси, выбравшего себе характерный псевдоним Рогатый Бормотун (Bredin le Cосу): “Весьма развлекательный формулярный всех контрактов, дарений, завещаний,

¹⁵⁵ *Jurgens M.* Documents du Minutier Central des notaires de Paris: Ronsard et ses amis. Paris, 1986.

¹⁵⁶ *Le protocole: L’art et stille des tabellions notaries.* Paris, 1550

¹⁵⁷ *Theorique de l’art des notaires: Pour cognoistre la nature de tous contrats...* / Trad. de Latin en Franzois et succinctement adaptië aux ordonnances royaux par Pardoux de Prat, docteur is droict, et reveu et augmentee de nouveau. Lyon: Basile Bouquet, 1582.

завещательных распоряжений и прочих актов, свершенных перед нотариусами и свидетелями”¹⁵⁸.

Но наиболее полезным оказался труд Жана Папона “Инструменты или секреты нотариусов”¹⁵⁹. Среди историков права Жан Папон заслужил репутацию весьма посредственного юрисконсульта, далекого от той глубины проникновения в дух законов, которая отличала лучших представителей французской правоведческой школы (Дюмулена, Тирако, де Ту, Бодена). Это, однако, не только не мешало, а, пожалуй, и способствовало популярности трактатов Папона у нотариусов и практикующих юристов своего времени. Он в достаточно доступной форме вооружал ценной информацией о важнейших сторонах судебной процедуры, о спорных моментах обычного права, приводил примеры правовых трудностей, с которыми может столкнуться нотариус при составлении акта.

Также мной были использованы более поздние пособия по нотариальной практике, поскольку сама практика менялась очень медленно¹⁶⁰.

Б. Дополнительные источники.

Расширяя круг поисков: фонды суверенных курий.— Регистры Парламента. — Документы Монетной курии. — Каталоги королевских актов и иные памятники законодательства и административного права.— Нарративные источники.

Проанализировав данные регистров Шатле с целью выявить некоторые социальные структуры и корректируя полученные результаты при помощи нотариальных минут, чтобы получить лучшее представление о нотариальной практике, о возможных целях составителей актов, о взаимоотношении “свободы

¹⁵⁸ *Troncy Benoit de (Bredin le Cocu)*. Formulaire fort rйcricatif de tous contracts, donations, testaments, codicilles et autres actes qui sont faict et passйs pardevant notaire et tesmoins. Lyon, 1590.

¹⁵⁹ *Papon Jean*. Instrument de premier notaire. Lyon, 1576; *Idem*. Second notaire, Lyon, 1576; *Idem*. Secrites du troisiime et dernier notaire. Lyon, 1578.

¹⁶⁰ *Ferriere Cl*. La science parfaite des notaires ou le moyen de faire un parfait notaire. Paris, 1682; *Cothereau Ph*. La thйorique et pratique des notaires. Paris, 1620; *Cassan J*. Le nouveau et parfait notaire franzois. Paris, 1684.

выбора” индивида с принуждением формуляра, я обратил затем внимание на нескольких дарителей (их было немногим более десятка), чье “нотариальное поведение” явно выбивалось из общего ряда (насколько я мог об этом судить, уже обогатившись некоторым опытом работы с нотариальными источниками). Мной была поставлена задача отыскать дополнительную информацию об этих людях. Кое-что удалось обнаружить в связках нотариальных минут. Но этого было недостаточно, поэтому круг поисков пришлось расширить, и на последнем этапе работы в поисках дополнительных сведений биографического характера я обратился к дополнительным источникам.

Расширяя круг поисков данных при сборе дополнительного материала о тех или иных лицах, упомянутых в нотариальных актах, я обращался к иным источникам, в частности, к актам королевской юстиции, королевских суверенных курий.

Документы Парижского Парламента (серия X) пользуются у исследователей столь же мрачной репутацией, что и нотариальные минуты. Бесконечные ряды архивных стеллажей, уставленных сотнями фолиантов, в каждом из которых убористым почерком записывались решения, выносимые судьями, протоколировались судебные прения, способны поддерживать исследовательский интерес не одного поколения историков.

Я обращался к регистрам Совета по гражданским делам Парижского Парламента (серия X 1a). В них ежедневно записывался состав судей, которые вели данное заседание, кратко излагалось содержание дел и записывались выносимые решения. Объемные фолианты, исписанные мелким почерком, вмещали дела за один семестр. На руки они не выдаются и доступны лишь в форме микрофильмов, причем сделаны они были, по-видимому, в начале 1960-х гг., и поэтому их качество оставляет желать лучшего. Понятно, что сплошной просмотр всех томов хотя бы за десять лет, потребовал бы самостоятельного исследования, вряд ли осуществимого в одиночку. Историки, как правило, прибегают к работе со сборниками парламентских судебных постановлений, составленными юристами времен Старого порядка, или с указателями, содержащимся в объемных монографиях

историков прошлого века¹⁶¹, а так же с каталогами актов французских королей. По этому пути пошел и я, стараясь отыскать в этих публикациях указания на соответствующий том парламентских регистров, а затем уже прибегая к фронтальному поиску нужной мне информации по всему тому. В некоторых случаях это имело успех.

Я использовал также документы “под-серии” (sous-série) X 1c, где содержались тексты полюбовных соглашений, заключенных под эгидой Парламента. Некоторые из судебных постановлений Парламента можно найти в печатных сборниках юристов эпохи Старого порядка, так называемых “арестографов” — специалистов по изучению и классификации судебных постановлений (arrests)¹⁶².

Один из авторов нотариального акта, привлечших мое внимание, обвинялся в фальшивомонетничестве, поэтому помимо документов парижского парламента, я использовал источники, относящиеся к другому суверенному суду — Монетной курии (серия Z 1b). В ее ведении находились дела, связанные с изготовлением и оборотом монет и драгоценных металлов. Основанная в середине XIV в., Палата монет была в 1552 г. возведена в ранг суверенного суда. В ведении новообразованной Монетной курии находились как гражданские (спору о компетенциях чиновников монетного двора, о полномочиях генералов монет и т. д.), так и уголовные дела (изготовление и обращение фальшивой монеты, контрабанда драгоценных металлов). В отличие от парламентских регистров, документы монетной курии представляли собой не столько запись судебных постановлений, сколько досье, содержащие различные материалы судебной процедуры — иски, заявления, жалобы, протоколы и т. д.

Большим подспорьем в работе оказались каталоги актов французских королей: 10 томов каталога актов Франциска I¹⁶³, 6 томов актов Генриха II¹⁶⁴, и два тома,

¹⁶¹ Например, *Maugis E. Histoire du parlement de Paris de l'avènement des rois Valois à la mort d'Henri IV. Paris, 1913–1916. 3 vol.*

¹⁶² *Le Vest B. Arrests celebres et memorables du Parlement de Paris. Paris, 1612; Louet G. Recueil d'aucuns notables arrests donnez en la cour de Parlement de Paris. Paris, 1633; Brillon P. J. Dictionnaire des arrrcts ou jurisprudence universelle. Paris, 1727.*

¹⁶³ *Catalogue des Actes de Franzois I. Paris, 1887–1908. 10 vol.*

относящиеся к короткому правлению Франциска II¹⁶⁵. Ценность этих изданий заключается не столько в том, что они содержат сведения о королевском законодательстве (такие данные есть и в других публикациях), сколько в том, что указывают все письма, составленные “от имени короля”, даже в том случае, если сохранились не они сами, но лишь упоминания о них, содержащиеся, например, в постановлениях Парижского парламента.

Материалы королевского законодательства привлекались мной для освещения правового регулирования отдельных аспектов нотариальной практики и охраны привилегий подданных парижского университета¹⁶⁶.

Мной были использованы также первые тома “регистров постановлений городского бюро” Парижа¹⁶⁷. Именной указатель к этому изданию муниципальных документов позволил в некоторых случаях найти дополнительные сведения об интересующих меня деятелях.

Поскольку рассматриваемые нотариальные акты были по большей части составлены на территории, находящейся в зоне действия парижского обычного права, то в ряде случаев я обращался как к изданиям самой кутюмы, так и некоторым комментариям к ней¹⁶⁸. Это оказалось необходимо для прояснения

¹⁶⁴ Catalogue des Actes de Henri II (1547–1552). Paris, 1979–2001. 6 vol.

¹⁶⁵ Catalogue des Actes de Francois II. Paris, 1991. 2 vol. К данному изданию отсутствует именной указатель, что значительно затрудняет работу с ним.

¹⁶⁶ Ordonnances des rois de France de la troisieme race, recueillis par ordre chronologique. Paris, 1723–1849. 22 vol.; Recueil gññral des anciens lois franzaises / Ed. F.-A. Isambert et al. Paris, 1821–1833. 29 vol.; Ordonnances des rois de France, rñgne de Francois I (1515–1539). Paris, 1902–1972. 8 vol+3 fasc.; Fontanon A. Les ydicts et ordonnances des rois de France. Paris, 1611. 3vol.

¹⁶⁷ Registres des dñlibñrations du Bureau de la ville de Paris (1499–1628) / Publ. par F. Bonnardot et al. Paris, 1883–1958. 19 vol.

¹⁶⁸ Coustume de la prevostñ et vicomtñ de Paris. Paris, 1580; Coustume de la ville, prevostñ et vicomtñ de Paris ou droit civil parisien: Avec les commentaires de L. Charondas le Caron. Paris, 1603. 2 vol.; Choppin R. Commentaires sur les coustumes de la prevostñ et vicomtñ de Paris // Choppin R. Ńuvres. Paris, 1662. T. 3.

некоторых аспектов семейного права, определявшего поведение составителей нотариальных актов.

Некоторые из разыскиваемых мной авторов нотариальных актов сами оказались людьми образованными и оставили после себя литературное наследие. Разумеется, их труды также были использованы мной для пополнения их “досье”. Таких людей в моей выборке оказалось трое: адвокаты Шарль Дюмулен и Рауль Спифам, а также королевский лектор латинского красноречия в Парижском университете и принципал коллегии Бонкур, Пьер Галланд. Перу этого гуманиста принадлежит объемный комментарий к Квинтилиану, принесший ему заслуженную славу¹⁶⁹. В дальнейшем он был более известен как умелый администратор, но дошли до нас и некоторые образцы его ораторского искусства¹⁷⁰. Большой резонанс в университетских кругах имел ответ Пьера Галланда Пьеру де Ла Раме (Рамусу), выступившему против авторитета Аристотеля¹⁷¹.

Шарль Дюмулен принадлежал к числу наиболее авторитетных юрисконсультов XVI в., оставивший большое творческое наследие¹⁷². Наиболее известны его комментарии к Парижской кутюме¹⁷³, мной были использованы также его

¹⁶⁹ *Galland P. Quintilliani de institutione oratoria libri XII, argumentis Petri Gallandi, eiusdem declamationum liber. Paris, 1542.*

¹⁷⁰ *Galland P. Oratio in funere Francisco Francorum regi a proffessoribus regiis facto. Paris, 1547; Oraison sur le trespas du Roy Franzois, faicte par m. Galland, son lecteur en lettres latines, et par luy prononcй en l’Universitй de Paris VII jour de may 1547 / Trad. de latin en franзais par J. Martin. Paris, 1547; Idem. De caleto recepta et rebus a Francisco Lotharingo duce Guiso auspiciis HenriciIII gestis carmen elegiacum. Paris, 1558; Petri Casteani, magni Franciae elemosynarii vita, auctore P. G. Paris, 1674.*

¹⁷¹ *Petri Galandii literarum latinarum pofessoris regii, contra nouam academiam Petri Rami oratio. Paris, 1551.*

¹⁷² *Caroli Molinaei Opera qui extant omnia... Lutetia, 1612, 1681².*

¹⁷³ *Du Moulin Ch. Opera. Paris, 1681. T. 1–7; Consuetudines sive constitutiones almae Parisorum Urbis, atque ad ei totius Regni Franciae principales. Commentariis amplissimis.. par. D. Carolum Molinaum iureconsultum, Parisii, 1539; Francfurt, 1575; Les notes de maistre Charles Dumoulin sur les coustumes de France. Paris, 1715.*

малоизвестные юридические сочинения, имеющие непосредственное отношение к обстоятельствам его жизни, отраженным в его нотариальных актах¹⁷⁴, а также его трактаты политического характера¹⁷⁵.

Творчество его коллеги и современника адвоката Парижского парламента Рауля Спифама не получило столь широкого резонанса, но трактат, написанный им представляет собой огромный интерес и продолжает служить объектом споров. Речь идет о проекте преобразования правосудия и церковного устройства всего королевства, изложенном Спифамом в виде 312 указов, якобы составленных Генрихом II. Рауль Спифам издал это сочинение подпольно, у себя в поместье. Произошел крупный скандал — Парламент конфисковал тираж, однако несколько экземпляров сохранились¹⁷⁶. Об этом адвокате было известно, что он сочинял эпиграммы и сатирические стихи, но мои поиски не увенчались в данном случае успехом — единственная басня, приписываемая Спифаму, оказалось написанной о нем, а не им¹⁷⁷.

Разумеется, в поисках биографических сведений об этих людях мной привлекались нарративные материалы, я искал упоминания о них самих (об их близких или о событиях, в которых они принимали участие) в свидетельствах современников.

Достаточно информативен в этом отношении оказался “Диалог об адвокатах”, составленный юристом второй половины XVI в. Антуаном Луазелем, в котором он, помимо общих рассуждений о достоинстве звания адвоката, приводит любопытные сведения о своих предшественниках — Дюмулене и Спифаме¹⁷⁸. К этой же

¹⁷⁴ *Du Moulin Ch.* Tractatus dua analytici: Prior de donationibus, vel confirmatis in contractu matrimonii, posterior de inoficiosis testamentis... Paris, 1578; Annotationes super consultationes Alexandro [Tartagni] libri 7. Paris, 1551.

¹⁷⁵ *Traictй de l'origine, progres et excellence du Royaume des Francoys et couronne de France...* Lyon, 1561.

¹⁷⁶ *Spifame R.* Dicarchiae Henrici Christianissimi regis progymnasmata. Paris, 1556.

¹⁷⁷ BN MS 736 f/ 227 fable attribuy a Raoul Spifame.

¹⁷⁸ *Loysel A.* Le dialogue des avocats du Parlement de Paris // *Divers traitйs tiris des mйmoires de m. A. Loysel.* Paris, 1651.

категории источников можно отнести трактат Луи Бродо, посвященный жизни Шарля Дюмулена. Луи Бродо писал свой труд в начале XVII в. и был знаком с зятем Шарля Дюмулена, Симоном Бобе, который и передал биографу семейные документы для увековечения памяти своего тестя¹⁷⁹.

В процессе поисков биографических сведений о Рауле Спифаме, я обнаружил несколько сочинений его брата и основного оппонента Жака-Поля Спифама, епископа Неверского, оказавшиеся весьма любопытными и способными пролить свет на некоторые стороны конфликта, вспыхнувшего в лоне семьи Спифамов. В их числе неопубликованное письмо, адресованное епископом Неверским Генриху II (его ошибочно приписывали Жилью Спифаму, племяннику Жака-Поля и Рауля Спифамов). Копия этого письма хранится в Библиотеке Святой Женевиевы в Париже, в сборнике документов, составленном, по-видимому, в середине XVIII столетия¹⁸⁰. Сохранились также анонимные политические трактаты Жака-Поля Спифама¹⁸¹ и материалы судебных процессов его самого и его старшего брата Гайара Спифама¹⁸².

Круг общения Пьера Галланда включал в себя поэтическую среду. Поэтому его смерть была отмечена сразу несколькими эпитафиями¹⁸³. Пьер де ла Раме оставил

¹⁷⁹ *Brodeau L.* La vie de maistre Charles du Moulin. Paris, 1654.

¹⁸⁰ *Epitre envoyuy au roy Henri Second par l'evesque de Nevers* // *Bibliothique de Sainte Gйнйвieve*. MS ? 793. P. 177.

¹⁸¹ *Spifame J. P.* Discour sur le congй obtenu par le cardinal de Lorraine pour porter armes a ses gens pour la dйfense et tuituion de sa personne... [S. l.], 1565; *Idem*. Lettre adressй de Rome a la reine mire du Roi contenant utile admonition pour pouvoir aux affaires qui se present... [S. l.], 1563.

¹⁸² *Bibliothique national. Departement des manuscrits. Fonds franзais 3943 (65)*. Arrйt rendu contre Gaillard Spifame (3 mai 1535); *Collection Dupuy 137 (119–129)*. Arrйt contre Jacques Spifame (1566); 500 (76) sentence contre Jacques Spifame; *Collection Moreau 778 (133)*. Procis criminel de Gaillard Spifame.

¹⁸³ *Jamot F.* De Obitu Petri Gallandi. Paris, 1560; *Roiller Cl.* Ode ad Guill. Gallanium gymnasiarchum ecodianum. Cui accessit eiusdem de obitu Petri Gallandii elegia. Paris, 1559; *Salis panagius*. Im Ronsardum epicedion, ad pias Gallandii lachrymas. Paris, 1586.

свою версию студенческих волнений 1557 г. (так называемое “побоище на Пре-о-Клерк”); участником этих событий был интересующий нас Пьер Галланд¹⁸⁴. В то же время сама полемика Галланда и “Рамуса” нашла свое отражение в бессмертных книгах Франсуа Рабле¹⁸⁵. Его книга “Гаргантюа и Пантагрюэль” содержала некоторые намеки и на другого университетского деятеля, оказавшегося в числе лиц, о которых я собирал биографические сведения. Речь идет о Николе Леклерке, докторе, а в конце своей жизни — декане факультета теологии. Он же неожиданно оказался в числе корреспондентов Эразма Роттердамского¹⁸⁶. Определенную пользу в качестве ориентиров в попытках реконструкции тех или иных сторон жизни французского общества XVI в., мне принесли и иные нарративные источники — дневники современников¹⁸⁷, хроники¹⁸⁸, литературные произведения¹⁸⁹.

¹⁸⁴ *Ramus P.* Harange de Pierre de la Ramme touchant ce qu'ont fait les deputés de l'Université de Paris. Paris, 1557.

¹⁸⁵ *Rabelais F.* Gargantua; Pantagruel. Paris, 1972.

¹⁸⁶ *Erasmus D.* Opus epistolarum / Ed. P. S. Allen, H. N. Allen. Oxford, 1906–1934. 8 vol.

¹⁸⁷ *Driart P.* Chroniques parisiennes, 1522-1535 / Pub. par F. Bournon // Memoires de la société de l'Histoire de Paris et de l'Ile-de-France. 1895. T. 22; *Gouberville G. de.* Journal Bricquebosq. Paris, 1993. 4 vol.; Journal d'un bourgeois de Paris / Publ. par L. Lalanne. Paris, 1854; *Versoris N.* Livre de raison / Pub. par G. Fagniez // Mémoires de la société de l'Histoire de Paris et de l'Ile-de-France. 1885. T. 12; *Haton Cl.* Mémoires, contenant le récit des événements accomplis de 1553 a 1582, principalement dans La Champagne et La Brie / Ed. par F. Bourquelot. Paris, 1857. 2 vol. Vol. 1: 1553–1565.

¹⁸⁸ Chronique du roy François premier de ce nom / Ed. par G. Guiffrey. Paris, 1860; *La Popelinière L.* L'histoire de France enrichie des plus notables occurrences survenues es provinces de l'Europe et pays voisins... depuis l'an 1550. Paris, 1581; *Cormier T.* Rerum gestarum Henrici II regis Galliae libri unique. Paris, 1584; *Du Boulay C.-E.* Historia universitatis parisiensis. Paris, 1666–1673. 6 vol.

¹⁸⁹ *Montaigne M. de.* Essais. Paris, 1991; *Du Fail N.* Propos rustiques. Genève, 1970; *Sorel Ch.* La vraie histoire comique de Francion. Paris, 1996.

Но напомним, что речь идет лишь о вспомогательных источниках. Ведь главным смыслом нашей работы была попытка реконструкции французского общества предпринятого преимущественно по нотариальным актам.